

К1035761

**БОРИС
ШЕРГИН**

**У АРХАНГЕЛЬСКОГО
ГОРОДА**

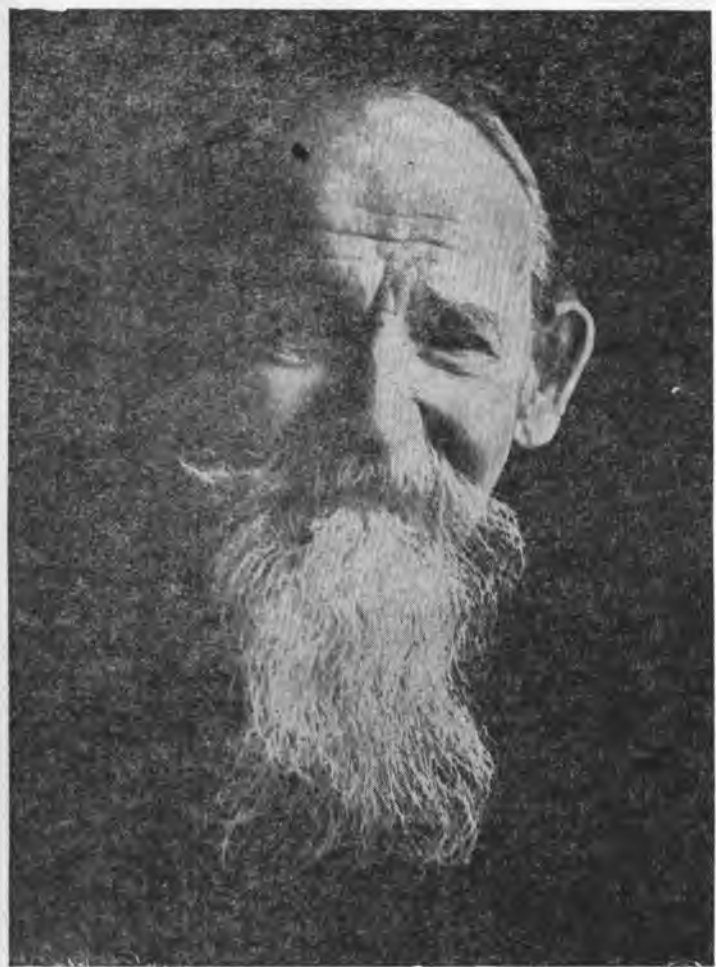




**БОРИС
ШЕРГИН**



У АРХАНГЕЛЬСКОГО
ГОРОДА



**БОРИС
ШЕРГИН**



У ЯРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДА

АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1985

Текст печатается по изданиям: Шергин Б. В. *Океан-море русское*. М.: Мол. гвардия, 1959; Шергин Б. В. *Запечатленная слава*. М.: Сов. писатель, 1967; Шергин Б. В. *Гандвик — студеное море*. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971; Шергин Б. В. *Поморские были и сказания*. М.: Дет. литература, 1971; Шергин Б. В. *Избранное*. М.: Сов. Россия, 1977; журнал «Пионер», 1929, № 4; журнал «Чиж», 1933, № 7.

Художник В. Д. Кудрявцева
Фотопортрет работы
В. Г. Ускова

Ш 49 Шергин Б. В. У Архангельского города./ Худож. В. Д. Кудрявцева.— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985,— 256 с., ил.

Борис Викторович Шергин (1893—1973) родился в Архангельске, в семье корабельного мастера. Здесь он провел детство и юность и на всю жизнь полюбил «Архангельскую страну», «Двинскую землю». В этой книжке, ты, наш маленький читатель, найдешь рассказы о том, какой была жизнь в Архангельске 70—80 лет назад, познакомишься со сказками и былинами Б. В. Шергина. Надеемся, что ты полюбишь этого писателя и, когда вырастешь, прочтешь и другие его книги.

Ш 4803010102
М157(03) — 85 31 — 85

© Северо-Западное книжное издательство, 1985 г.,
составление, оформление.



Рассказы

ДЕТСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ



Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую заходили моряки. Здесь увидел молоденькую Анну Ивановну brave мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было никак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна.

Несколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя её сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щёголь...

Мишка, ты это к чему?

К тому, что он каждое слово Анной Ивановной шкредет...

И вот скажу отцу, посадит он тебя парусину драпной штонать... В другой раз не пойдёшь ко мне с такими разговорами.

Вскороности деда навестил знакомый капитан, зашёл проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображённое в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и...

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.

— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь...

Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошёл.

Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит...

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:

— Что ходите гут?

— Малину беру...

А уж о Покрове¹... Снег идёт.

Старик к дочери:

— Аннушка, что плачешь?

— Ох, зачем я посмотрела!..

— Аннушка, люди-то говорят — ты надобна ему...

Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица» — миньютюры «Винограда российского»², писанного некогда в Выгореции... Помолчали, гость вздохнул:

¹ Покров — 14 октября.

² «Виноград российский» — старинная поморская книга.

— Вы всё с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь?..

— Ни за царя, ни за князя не пойду!

Гость упавшим голосом:

— Аннушка, а за меня пошла бы?

Она шёпотом:

— За тебя нельзя отказаться...

В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы¹, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто кютики; окошечки коротенькие, полы жёлтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам² синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились — отцово же мастерство.

Первые годы замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома поддерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поёт:

Баю, бай да люли!
Спи-ко усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетёру стрелец...
Бай, бай да люли!
Ты на ёлке тетёрку имай,
На озёрке гагарку стреляй,
Ещё на море уточку,
На песочке лебёдушку.

¹ Немецкая слобода — район в старом Архангельске, где с давних времен жили домами и дворами немцы, англичане и голландцы.

² Наблюдник — полка, на которую ставят тарелки на ребро.

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — всё поёт.

Годов-то трёх сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь... Если кто видит, рёв подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.

Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестрёнка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!

— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.

— Я сама нашью, модных.

Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьёт. Иногда и ворот у рубашки наглухо зашьёт.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмёт меня на руку, сестрицу на другую, ходит по горнице, поёт:

Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Весёлышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Он поживёт с нами немножко и в море сторопится.

Если на пароходе уходит, поведёт меня в машинное отделение.

Я раз спросил:

— Папа, машина-то, она самородна?

Машины любил смотреть, только гулкового, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днём ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки! Что на море-то делается... Папа у нас там!

Я утешаю:

— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.

А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жёны и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гости поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.

В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.

Утром, не успеет кошка умыться, к нам гости наехали.

Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас всё прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаза дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот уж Мошкарь приедет...» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарём, можно Машкариком...

Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и всё это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы, вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

— Варгас, постой-ко, постой!

Он лошадь остановил, ждёт, недоумевает...

Я выбежал за ворота:

— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасову никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать...

А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду ещё...

Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дёрнем вниз да отпустим, дёрнем вниз да отпустим. Ульянка рывкнет да вверх летит, рывкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пелёнка... Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.

Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберётся нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты — странников убивать. А чуть привидится что чёрное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестрёнка дольше всех суетится:

— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти.

По Уйме-реке лес. Там орды¹ боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют — отправимся в лес по морошку. Людно малых идёт. Вдали увидим пень сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята! Эвон де орда-та!

Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с белку, вся-та с векшу, пёстрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.

¹ Орда — зверёк из редкого вида полосатой белки.

Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульяновской избе все и гостим, куча ребят трёх-шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поём, свадьбы рядим — смотренье, рукобיתье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают — честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий... И тут увидит из соседей старик ли, старуха — с рогозой к нам треплют... Ведь пост! Беда, если песни да скромное! Мы опять кто куда — в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тётка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:

— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..

Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — всё разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк.

Для памяти я декламирую:

Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро — ящички.

И другие стишки про буквы:

Ер (ъ) еры (ы) — упал с горы.
Ер, ять — некому поднять.
Ер, ю — сам встаю.

А . . . Б сидели на трубе.

Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Учёный водит,
Неучёный следом ходит.
Рано, весело вставай —
Заря счастье куёт.
Ходи вправо,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно не грузно.
А врозь — хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:

— Выучишься — ума прибудет!

Я таким недовольным тоном:

— Куда с умом-то?

— А жизнь лучше будет.

Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за неё не любил я школы, бил-

ся зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поём:

У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с вёслами,
Мал гулять с матросами!..

Или ещё:

Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идёт с треской,
Подаёт свисточек.

Насколько казённая наука от меня отпрядывала¹, настолько в море всё, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

МИША ЛАСКИН



то было давно, когда я учился в школе.

Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

— Тебя как зовут?

— Миша Ласкин.

— Ты один живёшь?

¹ Отпрядывать — отскакивать, отлетать.

— Нет, я приехал к тётке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушёл в далёкое плаванье.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку вёсла.

Старший из ребят кричал:

— Слушай мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промыслять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них вёсла.

Мы взяли из лодки вёсла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали вёсла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы вёсла потеряли.

Миша засмеялся:

— Вёсла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разутый, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ерш, куда ползёшь?

Он зачерпнул свободною рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться»,— и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нёс Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошёл к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:

— Ешь, мой голубчик.

Потом нальёт квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться.

Я с берега кричу, чтоб послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнаёт.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идёт Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашёл за мной?

Я ещё ничего не успел соврать, а уж с корабля плывёт лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.

Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное искусство увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получают у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капли, у нас тут и разговор: как поплывём на острова, как будем рыбку промыслять и уток добывать.

Мечтали мы о лёгкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, ещё по зимнему пути. Лодка стоила недёшево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег **сейчас**, половину — к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверясь Мише, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое судёнышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.

Вздыхнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Варпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уже разглядывал наши самодельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Её надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.

И вот мы получили для переписывания книгу стооголовалую, премудрую, под названием «Морское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно закончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работы для каждого, а завтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия. Он для спешных работ побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лёд, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай,— говорим,— сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише, и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

Варнаховский похвалил работу и сказал:

— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные¹, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдём с нами.

В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьёв, старичище с грозной бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берёт со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный,— сказал Миша,— эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этимися словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!..

¹ Степенные — здесь: члены правления.

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.

Старичище Воробьёв взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветёт, весь берег пахнет розами».

ВАНЯ ДАТСКИЙ



Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибежища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды-морошки по белому мху; торговок — пирожниц, бражниц, квасниц — будто звёзд на небе. И что тут у баб разговору, что бабололу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить.

Горожане дивились на Аграфену:

— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слышать. Будто ты колокол соборный.

— Умрём, дак выспимся,— отвечала Аграфена.— Я тружусь, детище своё воспитываю!

Был у Аграфены одинакий¹ сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое судёнышко кинуть якорь, Иванушко является с визитом, спросит: здорову ли шли? Его угощают солёными «бишками» — бисквитами, рассказывают про дальние страны.

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцать лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти!

Мама заревела, как медведица:

— Я те благословлю поленом берёзовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!

— Ну, я без благословенья убежу.

Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану.

— Кэптен, тэйк эброд! (Возьмите с собой!)

У капитана не хватало матросов. Бойкий паренёк понравился.

— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)

Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не заметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.

Аграфена не удивилась, что сын не пришёл ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь: «На озёрах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!

И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет...

Нету слёз против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:

¹ О д и н а к и й — единственный.

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище своё отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Каждую бы дверь отворила,
В каждое бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила...

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плавание. В Дании у него жена, народилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слёзы в перелётную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.

Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая...

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идёт Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?

— В Россию, в Архангельский город.

Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.

Жена с плачем собирала Ваню в путь:

— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там...

— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.

Дует пособная поветерь¹. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.

На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой... Теперь он идёт по пристани высокий, бо-

¹ Пособная поветерь — попутный вестер.

родатый. Идёт и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует».

Он ещё матери не видит, а уж голос её слышит:

— Булочки мяконики! По полу катала, по подлавою вала!

Люди берут, хвалят. И сын подошёл, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.

У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьёт с маминой булочкой, на маму глядит...

Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьёт, на маму смотрит. У самого дума думу побивает: «Открыться бы!.. Нет, страшно: она заплачет, мне от неё не оторваться. А семья как?»

В последний день, за час до отхода, Ваня ещё раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки двадцать пять рублей.

Так, не признавшись, и отошел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:

— Эй, жёнки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой?.. Твенти файф рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.

После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеели ветры в русскую сторону.

Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».

Опять жена плачет:

— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит!

— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.

Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идёт в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:

— Булочки-хвалёночки: сверху подгорели, снизу подпеклись!

Ваня подошёл, купил. Потом в трактире чай пьёт, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые. Упасть бы в ноги! Может, бы и простила и отпустила!.. Нет, страшно!

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушёл в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше никому! — и заплакала.— Дитяtko моё рождёное, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя... Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывёшь одним глазом взглянуть на мать...

Дует весёлый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега... Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена.

Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки?

Иванушко тоже своё дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьёт, на маму глядит.

И в последний раз, как булку купил, суёт матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.

Как он деньги-те пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:

— Кара-у-ул! Грабя-ят!!!

Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.

Аграфена тихонько говорит приставу:

— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.

Пристав подступил к Ване:

— Признавайтесь, вы ей сын?

— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!¹

Аграфена закричала с плачем:

— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говòрю забыть... Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.

Пристав приказывает Ивану:

— Раздевайтесь!

Тогда Ваня пал матери в ноги:

— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе

¹ Ноу, ноу! Ноу андестенд ю! (англ.).— Нет, нет! Я вас не понимаю!

все мои деньги — пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:

— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала...

Заплакал и Ваня:

— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца...

Заревели в голос и торговки:

— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!

Аграфена говорит:

— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезёшь.

Действительно, на другой год привёз старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:

— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.

Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привёз среднего сына. И этот остался у бабушки, не пожелал лететь из тёплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

— Джон, останемся тут! Здесь такие добрые люди.

Аграфена веселится:

— Вери гуд, невестушка. Где лодья ни рыщет, а у якоря будет.

Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.

По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.

МУРМАНСКИЕ ЗУЙКИ



Зуёк, или зуй,— наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение — обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжёлая, и больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери одна забота: чтобы сынишка и семье помог, и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжёлому делу мурманскому.

Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды,— пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы солёной, пять пудов сушёных тресковых голов.

Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навывкат. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким полдела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом дома — отвалный стол, провадинный обед. Накануне зуёк бегают, зазывает гостей. Зайдёт в избу, поклонится и скажет:

— Хозяин с хозяйшкой, пожалуйста к нам на обед. Милости просим! Милости просим!

Во время пированья зуйки стольничают и чашничают с шитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Обедает зуёк с хозяйкой, после гостей.

Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет:

— Батюшко, припади!

Это просят ветра посильнее припасть, дунуть.

Перед последней переменной мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шёлковым платочком, и плачет, и поёт:

Сизенький мой соколочек,
Миленький голубочек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное моё дитятко!
Беззаботные годочки прокатились,
Беспечальные денёчки миновались!
Не в доцвете траву шелкову
С поля убираю,
Не в доросте моего роженного
В работушку провожаю...
Всхожее ты моё солнышко,
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головушка заподумывает,
Ребяческо сердечушко запобаливат!

Вспомнит мать и младенческие годы сына:

Ты спал у меня, высыпался,
Ты ждал, дитя, дожидался
От отца весёлого покликанища,
От матери тихого побужанища,
От брателка ключевой воды,
От сестрицы полотенышка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит.

Слушая мать, и парнишка всплакнёт.

После обеда на жальник сходят (на кладбище), с родными проститься.

На пристань идут, каждому нищему подают:

— Натек-ко на поветерь.

И все встречные и поперечные отъезжающим поветери — попутного ветра — желают.

Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатывают, паруса откроют. Ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблём на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом, и... вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет, любо в море!

Матрос песню запоёт, в гармонь заиграет — смотришь, за кораблём тюлень молодой плывёт. Головочка у него чёрненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской, ростом с корову, любит перевёртываться да играть. Пробку свою оттыкает, из зашейка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблём в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в го-ломень¹ летит.

Бежит корабль, воздух весёлый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают... В дали морских другой кораблик блеснёт парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берёт медную, посеребрённую трубу-рупор и кричит:

— Путём-дорогой здравствуйте!

Те отвечают:

— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Мы опять:

— Куда путь-дорогу правите?

Ответ уж издалека донесёт:

— Из Стокгольма в Архангельской!..

Какой-нибудь матрос-молодожён схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск:

— Агафье моей расскажите, что меня встретили!

Зуйки опять за дело: медные котлы начищают. Чай-

¹ Г о л о м е н ь — открытое море.

ки на берег воротились. Кругом небо да вода. Навстречу английский пароход. Англичане дразнятся:

— Роши шкуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!

Зуйки из себя выходят, кричат:

— Роши шкуна шик! Инглиш тво фут руль, а фуль!

Елефан трунк друнк!

С тем и разминемся.

Бывает, что англичане корабельные сухари или «бишки» зуйкам бросают. Или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колобами отдаривают.

Норвежане встретятся — те спрашивают:

— Куры фра! Куры фра! (Куды, мол, пошли?)

Им отвечают, что на Мурман или в Данию.

Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-e!!!

Тошно в море — земля и небо стонут.

Самое опасное место в туманы Горловина — выход Белого моря в океан. Тут всегда волнение, толкунцы.

Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идёт на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдёт на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы чёрные, древние, как медведи, лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна ворочит. Кораблик в океане как чашечка маленькая. И подвигается на него «девята» — девятый вал, что всех больше... Вал чёрный, гребень белый — кружево белое на чёрном бархате. «Ну, — думаешь, — сейчас закроет — и всё тут...» Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнёт на гребне, как мать ребенка, да и спустит вниз. Только сердце ёкнет да в животе холодно. А впереди

другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок; горе, если со всех румбов заповёртывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест.

Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревёт у руля медведем на молодых помощников:

— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили?! Ух, коровы косые! Крепче кливер! Рочі шкот¹!.. Ух, карасином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!!!

Среди зуйков бывали такие продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте².

В непогодушку, когда старик океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернётся разъярённому Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм — юнга Бельских ходит с подвязанной щекой. Сувор к нему:

— Ты что, Владимирко?

— Что... Глаз-то худо заоткрывался...

— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберёшь... По шее бы надо.

— Себя бы бил по шее-то!

— Любя ведь, леший...

— Любя... Теперь как на берег сойду! Ни погулять, ни девкам показаться. Ни котора на меня не обзадобрится.

— На экого винограда чтобы не обзарилась! Да ты первый парень по деревне.

— Первый парень... А где наряды-то? Ты много ли нашёл?

¹ Рочіть шкоты — крепить судовые снасти.

² Гальот — парусное судно, разновидность шхуны.



«Детство в Архангельске»



«Ваня Датский»

— Ужо, не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.

Этот Окладников «хороший» был, а случилось на бедовых налетать. В шапке зуёк в каюту не зайди. Со старшим первым речь не заводи. Жди, когда заговорят. Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев.

Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнётся ему, он и запоёт печальную долгую песню:

В чужих-то людях рано будят,
На работушку гонят до зари.
С той-то работушки рученьки
Болят по плечам,
Со воздыханьица грудь болит...

По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте есть поморский стан, летний посёлок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу, зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить, и уху, да и квас чтоб был. Вот идёт у бедных ребят стряпня, рукава стряхня. Замараются, припотееют, а всё с песнями:

Сам толкú,
Сам мелю,
Сам и по воду хожу!
Кашеварничаю,
Пивоварничаю!

Хлебы зуй катает — поёт:

Уж и сею я муку
На полатах на боку!
Уж я по полу катаю,
По подлавочью валяю.
На плечи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.

Всего хуже ребятам хлеба печь. Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлеба в море на шкуне. Квашню, ёмкостью в несколько вёдер, взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.

В другой раз у Володи Воронина хлеба вышли как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлеба-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклёвывают. Так грех и открылся.

В мурманских станах живут временно, одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы у поварят в саже. А всё с песнями. Один поёт:

Три дни печи не топил,
Много сору накопил.
Ложки вымыл,
Во щи вылил!

Другой припевает:

Косяки скребу,
Пироги пеку...

Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:

Кисни квас —
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжащий. Чуть не угодят — и... гроза. В наказание на берег непустит. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как приведут этого капитана с берега мертвецки пьяного да

повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают:

Как за эту выслугу,
Что нас на берег не выпустил,
Тебя трясло бы, потряхивало,
Выше печи бы подбрасывало
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалиться,
Во шах завариться,
Пирогом подавиться!

В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так, бедные, душу отведут.

Приход шнёк и ёл в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чувят. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:

— Кормщики с рядовыми, пожалуйста хлеба есть!

Надо вежливо звать. Летает этаким чумазым кок по становищу, ищет своих, рвётся в куски, горячится, что обед стынет, а кричит честно:

— Господа промышленники наши, милости просим обедать!

Про себя-то всего насулит...

Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная корка упала на пол. Её скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуюк обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада. Дразнят друг друга:

Витька баню топит,
Ситом воду носит.
Решето-то розно,
Он принёс — порозно!¹

Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок-форшней, тысячи крючкѳ надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколь долог ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров.

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытаснены на берег, взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, пёсны поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок:

Я вставал поутру-ввечеру,
На босу ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.
Не путём, не дорогой шёл.
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в неё шиб — не дошиб;
Другой раз шиб — перешиб.
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.

А то запоёт кто-нибудь один:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
По поднебесью сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он чёрным хвостом принаправливает.

И все дружно подхватывают припев:

¹ Розный — рваный; порозный — пустой, порожний.

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

А с горы корова на лыжах катится,
Ноги росширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
На дубу свинья гнездо свила,
Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Малы деточки поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят,
По верхам глядят, улететь хотят.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Увидал таракан в лохани воду:
— А не то ли, братцы, море синее?—
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Увидал таракан: из чашки ложками хлебают:
— А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут?—
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок таких бородачей, повалятся на утёс, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую... А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слышал да видал, не забудет.

Ох, да в синем-то, да во широком-то
Раздольице, ох, да подымалася Погодушка
Немилослива.

А иплыли туры по синю морю,
Ох, да выходили туры на белы пески.
Ох, да им на́встречу турица златорогая:

«Уж вы здравствуйте, туры, где вы
Были, что видели?»
«А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась, и не вихри
В поле солетались. Ох, да подымался
Батый с Золотой ордой и со всею
Своей силою несметною...»

На мурманских пихтах — утёсах — гнездятся тысячи птиц — гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесёт яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собирать. Гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит всё и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут тёплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зелёные с крапинками. На вкус — рыбой припахивают, не все любят.

И яйца брать и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнёзда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утёсам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.

А дни — день за днём в работе, — как гуси, пролетают. Осень придёт с тёмными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнёт пустеть. Летние гости — поморы — поплывут на парусниках и на пароходах по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик — «клотик». Назначают состязание: кто повернётся на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберёт-

ся до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. Внизу, на палубе, героя ждёт премия — баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (перекладина у мачты), и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут — ничего потом не боятся.

Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубашках или в синих матросках с шейными платками.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сёстры веселы. Собаки — Дружки, Бордики, Лыски, Копы — приезжим на грудь скачут.

СТАРЫЕ СТАРУХИ



а Севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят.

«Домоправительница» наша Наталья Петровна привыкла в деревне с лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят, — керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядёт или шьёт у лучины.

— То ли дело соснова лучипушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Наше-пал хоть воз — и живи без заботы. Лес везде есть... А керосин — вонища от него, карману изъян, на стёкла расход; лампу от ребят храни... Люблю свет, который сама сделала.

Сама с сеновала к коровам идёт — лучина в зубах пластает, сено в охапке.

— Петровна, дом спалишь!

— Вы с лампами не спалите.

Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тётенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у неё сияет «осрам», а на голове, у самого носа, — керосиновая лампа.

— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивой пузырь чуть что — и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубнях остались... А уж Лампияда Керосиновна не выдаст.. лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огонёк, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала.

Бывало, заведут избомытьё — подобием постная Наталья Петровна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей, — Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с вёдрами и мочалками, справят челобитье:

— Благослови-ко, хозяйюшка, полы шоркать!

Мать равным образом поклонится в пояс:

— Мойте-ко, голубушки, благословясь!

Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтером моет полы крашенные, левкашенные. Опроксенья сдирает пол белый струганый, только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой да во всю мочь. При этом вслух сравнивает обшарпанный веник с

бородой жениха, а свой характер — с тряпкой: «Мной хоть полы мой да пороги затирай!..» А пол «отдерёт» — как желтилами выжелтит.

Наталья Петровна любит на неё:

— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Надоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.

Гризельда польщена:

— Бело — не бело, да дело-то ведено!

— То и ладно, то и хоршо. Тебе замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.

— Ты, Петровна, поглядывай вот, как я...

— Не сравнятся мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублём подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то! Всё минуло...

При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тётушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Фёдоровной Люрс в карты играют... Обeim по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостя первая забунчит:

— Горе мне с глухой тетерей! Врёт — глазом не мигнёт. Последний раз играю!

И Глафира Васильевна не поддаётся:

— Беда с теми играть, которые из ума выжили!

Одна другую не слышат, им и не обидно.

Утром тётенька встанет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:

— Вот он! Вот он, бубновой-то король!.. Под Люрсиным стулом лежит. Вчера думаю: «Куда козырь девался?» — а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!

Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта...

Раз, под праздник вечером, вымытый пол только что

высох, тётенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тётка не слышит, только видит — бегут по полу чёрные катышки. Подумала — тараканы; давай летать — давить. Испортила пол — чернику не скоро выживешь.

Татьяне Фёдоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматое, скрюченное. Умная девка сразу смекнула, что это банна обдериха, заверещала не по-хорошему да в чём мать родила — на улицу... Девку водой холодной обрызгивают, она — своё:

— О, тошнѣхонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка и вышла!

Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банную дверь да орёт:

— Где ты, обдериха?! Зашибу!..

Татьяна Фёдоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить (первые восемнадцать чашек без сахара). Пьёт и в зеркало на себя любуется:

— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мяконька стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвежкой на мне сватался?

— А?

— Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин?

— Медвежин?

— Тьфу! Молчи, глуха, — меньше греха... К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-от оказался женатой!

Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и своё «умершее» платье:

— Сошьёшь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева, и рюш, и воланчики добавишь, и

чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять.

И тётеньку и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:

— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасно как непохоже! Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались?.. Как живые вышли. И не так давно было, в турецкую войну... Только Боре-то не надо говорить, что не умеет... обидится. Бог с ним...

А сами кричат одна другой в ухо, на улице слышать.

Мамина мать, Олёна Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И её помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда явится к мастерам с тростью, в повойнике, в чёрном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддёрнуть стул, обидится:

— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется... Нет, ещё жива маленько. Ещё шалнеры гнутся... Это вам всё бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуты!..

Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:

— У нынешней молодёжи нет уваженья к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними навтыжку, как рекрут на часах...

Застучит тростью, уйдёт.

Лет восьмидесяти двух бабушка Олёна Кирилловна худо увидела. Оба сына её и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней: бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:

— Аниса-то где у вас?

Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает.

— Убежала в рынок на минуту, да и провалилась.

Верно, чай да кофеи с пароходскими распивает.

— Давно ушла?

— Часа два, поди... Пока у тех кофейники-то скипят...

В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение. Сядет рядом:

— Олёна Кирилловна, как поживаете? Невестки-ти каковы?

— Ничего невестки.

— Лучше-то котора?

— Обе хороши.

— Котора-нибудь лучше уж?

У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:

— Петькина-то уж не совсем... не очень... (а «Петькина» с нею разговаривает). Кофейком уж не угостит...

— Бабенька, да ты целый день за кофейником!

— Свой пью. Никому дела нет...

Старухи у нас собак около себя не держали, а курочку — непременно.

У Олёны Кирилловны курочка Хохлатка тоже аредовы веки доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:

— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся.

Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит:

«Ко-ко-ко-ко...»

Мы жили в городе, бабушка — на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдём к старухе проститься:

— Бабушка, прощай!

— Какой такой среди ночи чай?

И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито:

«Ко-ко-ко-ко?»

Восьмидесятилетней Олёне Кирилловне сняли ка-

таракт, и она опять увидела; однако, потрясённая операцией, захворала... Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Рёву было у домочадцев, причитания:

— Ты промолви нам последнее словечушко!

Болящая раба божия молчала, глаз не открывала.

Поднесли ко рту зеркало: дышит ли?..

Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:

— Попов сколько было? Выдать по пятишнице на плешь. Пели умильно...

Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:

В печи вода поставлена
Олёну Кирилловну омывать.
Ох, деточки, бабушка у вас
Тепере часова,
Не векова...

Утром Наталья Петровна надела чёрный костыч (сарафан) с белыми рукавами, взяла псалтырь, отправилась над «покоенкой» читать... Пришла, дверь к бабушке открыта, а та как ни в чём не бывало сидит у окошка, шьёт... Косо так на Петровну посмотрела:

— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?

— В баню пошла... к вам забежала...

— Давно ли в городу-то бань не стало? В Соломбалу мыться пришла?!

Но Петровны и след простыл.

Однако через три года Олёна Кирилловна заумирала не шутя.

Дочери говорят:

— Мама, мы батюшку пригласили.

— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Попто — «ба-ба-ба», да и всё. А наши-то старухи за рублёвку три часа поют да поют.

Однако иерей явился:

— В чём грешна, раба божия?

— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загорись в аду-то.

— Тебя саму за эти слова в муку!

— Я тоща, я худо загорю: головнёй возьмусь, да и... Ох, кабы кучей мучиться-то... Всё бы веселее..

— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай.

— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко, со всех сторон, пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?

Священник недоумевает, все молчат.

Старуха рассмеялась:

— Могила, кто же больше! Ну, простите. Не велю вам скучать.

Тут и всё.

А тётка Глафира Васильевна, умирая, сказала:

— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.

ЩЕДРАЯ ВДОВА



купеческой вдовы дочка помре — богатая невеста. По городу пошёл слух, что вдовица дочернее приданое раздаёт неимущим. Является к ней бедная девка.

— Здравствуйте, Матрёна Савишна.

— Что скажешь, голубушка?

— Люди-то сказывают, у вас дочерниного именица много осталось...

— Не знаю, много ли, мало ли, а одного платья

шесть сундуков, белья два комода, обутки три ящика, саков да пальтов два гардероба...

— Слышала я, что по бедным невестам-сиротам вы кое-что пожелали раздать...

— Не кое-что, а всё. Потому — добрее да проще меня на свете нету. Я вам, беднякам, мать, вы мои дети!

— Благодетельница, наделите меня платьем, хоть немудрящим...

— Пла-атьем?! Ишь како слово выворотила... Да ты понимаешь ли, каковы у нашей Манюшки платья были? Всё по моды да с фасоном!.. Дак твоей ли роже барышнине платье?..

— Платье нельзя, дак башмачков нет ли худеньких?

— Станет наша Манюшка худеньки носить! Покажи-ка ногу... Ну и лапища! Дам я тебе магазинны ботиночки!.. Хороша и в лаптях!

— Может, платок головной старенькой есть?

— Платок?! Что ты, дура, неужто наша дочь платки носила, как простая девка! У ней шляпок семнадцать картонок осталось...

— Ну, простите, что побеспокоила... пойду.

— Стой! Я бедным мать и благодетельница. Платок ты просила — на тебе платочек ситцевенькой. Только его дочка вместо утюжки держала, дак он с краёв оборвался и середина выгорела... Заплату нашёшь... Бери, пользуйся. Я для вас, бедняков, гола рада раздеться!

ДЛЯ УВЕСЕЛЕНИЯ



семидесятих годах прошлого столетия плы-
ли мы первым весенним рейсом из Белого
моря в Мурманское.

Льдина у Терского берега вынудила нас взять на во-
сток. Стали попадаться отмельные места. Вдруг старик
рулевой сдёрнул шапку и поклонился в сторону еле
видимой каменной грядки.

— Заповедь положена,— пояснил старик.— «Все ply-
вущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев
Ивана и Ондrejaна».

Белое море изобилует преданиями. История, которую
услышал я от старика рулевого, случилась во времена
недавние, но и на ней дежала печать какого-то величе-
ственного спокойствия, вообще свойственного северным
сказаниям.

Иван и Ондrejaн, фамилии Личутины, были родом с
Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях
Архангельска. По штату числились плотниками, а на
деле выполняли резное художество. Старики помнят
этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме
корабля. Изображался олень и орёл, и феникс и лев;
также кумирические¹ боги и знатные особы. Всё это
резчик должен был поставить в живность, чтобы как в
натуре. На корме находился клейнод, или герб, того
становища, к которому приписано судно.

Вот какое художество доверено было братьям Личу-
тиным! И они оправдывали это доверие с самой выдаю-
щейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на по-
смотрение потомков.

¹ Кумирические боги — боги античной мифологии.

К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины воротились в Мезень. По примеру прадедов-дедов занялись морским промыслом. На Канском берегу была у них становая изба. Сюда приходили на карбасе, отсюда напускались в море, в сторону помянутого корга.

На малой каменной грядке живали по несколько дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет семь или восемь. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В конце августа Иван с Ондреяном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола мокра, дак брюхо сыто».

И вот хлеб доели, воду выпили — утром, с попутной водой, изладились плыть на матёрую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку, у огонька. Был канун Семёна дня, летопроводца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унёс безвестно куда.

Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от расхожих морских путей. По времени осени нельзя было ждать проходящего судна. Рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбы черева¹ — то и питание. А питьё — сколько дождя или снега выпадет.

Иван и Ондреян понимали своё положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно.

Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в отношениях морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переменя не будет».

По обычаю надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по ка-

¹ Черева — внутренности.

кой причине померли. Если не разыщет родня, то, приведётся, случайный мореходец даст знать на родину.

На острове оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали... Четыре четверти в длину, три в ширину.

При поясах имелись промышленные ножи — клепики.

Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званию — были вдохновенными художниками по призванию.

Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля.

Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косою, братья видят её — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах.

Ондрейн, младший брат, прожил на острове шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано.

На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Личутиных отправился отыскивать своих дядьёв. Золотистая доска в чёрных камнях была хорошей приметой. Племянник всё обрядил и утвердил. Списал эпитафию.

История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся...

В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакаленного солнца, держали мы курс от Конушиного мыса

под Север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Личутиных. Определили место личутинского корга.

Канун Ивана Купала шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя. Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенек — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на вёслах. В этот тихостный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.

— Теперь где-нибудь близко, — шепчет мне Максим Лоушкин.

И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гусях. Кто-то поёт, с кем-то беседует... Они это, Иван с Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами, как со дна моря всплыл. Камни вокруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли, это лёгкий прибой. Волна о камень плеснёт да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят, как изваяния. Всё как заколдовано. Всё будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску личутинскую и начитаться не может.

Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной, светлой тусклости неба!

Достопамятная доска с краёв обомшела, иссечена ветром и солёными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.

Посредине доски письмена — эпитафия, — делано высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и не сгорающая. Стали читать эпитафию:

Корабельные плотники Иван с Ондрейном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.

Осенью 1857-го года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своею оплошкой
Карбас утерялся со снастями и припасом,
И нам, братьям, досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.

Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки...
Ондрейн ухитрил раму резьбой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенски мешана.
И помяните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана.

Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошёл до
этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не
стерпел — «на долгий отдых повалились».

Проплакали и отёрли слёзы: вокруг-то очень необык-
новенно было. Малая вода пошла на большую, и тут
море вздохнуло. Вдох от запада до востока прошумел.
Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там
взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрик-
нули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться
в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..

Обратно с Максимом плыли — молчали.

Боялись, не сронить бы, не потерять бы веселья сер-
дечного.

Да разве потеряешь?

ПОКЛОН СЫНА ОТЦУ



тец мой, берегам бывалец, морям проходец,
ленивой и спокойной жизни не искал.

От юности до старости жизнь его прошла в службе Студёному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень «корабельного мастера первой статьи». Ряд лет состоял главным механиком Мурманского пароходства.

Мы видели отца дома, в Архангельске, только зимою. Прибежит в обед с верфи или из Мурманских мастерских. Для спеху уж всё на стол поставлено. И убежит — не убрано.

— Мне некогда. Машину пробуем...

За ужином ушки хлебнёт, а рыбы не может.

— Я устал. Я лягу.

Жизнь скоро скажется, а трудно тянется...

Я ещё мал был, беда стряслась над нами: у отца жилы с правой руки машиной обрало, и до смерти пальцы худо разгибались.

Ещё помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла: «Пароход «Чижов» у Зимнего берега разбит».

А на «Чижове» отец ходил...

Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой.

Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус как есть по-корабельному — и мачты, и рей, и паруса, и якоря, и весь таке-лаж. Бывало, мать только руками всплеснёт, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет.

Лет семи начал я у отца проситься в море, а он не внимал:

— Рано тебе, свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальёт.

— Я рыбу хочу промыслять.

— Вот и промыслий у себя ложкой в тарелке.

Только на десятом году попал я в море до Мурмана.

Иной раз ранней весной или поздней осенью пойдёт отец на бор поохотиться, тут я ему закаблuchье обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьём, и я юн забегал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать...

Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся. Скажет:

— Праздное слово сказать — всё одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-пребойся пустого времени — это живая смерть... Прежде вечного покоя не почивай... Слышал ли, поют:

Лёжа добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить.

И ещё скажу — никогда не печалься. Печаль как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали — смерть. Но беда не в том, что в печаль упадёшь; а горе — упавши, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели...

А и весело подойдёт, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, ажно посуда в шкафу звенит. У Ледовитого океана, у Грозного промысла, без шуток да без песен и век проживёшь — не усмехнёшься.

А отец много на веку работы унёс, много поту утёр на зною у машины, на людей тружаяся. Не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи.

В Мурманском доке у отца был кочегар — парнишка

недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвёт, спящего заменит:

— Молод, бедной... мне эдак-то смала пришлось... Теперь легче, теперь двенадцать часов. А пускай поспит.

Среди зимы на пятьдесят пятом году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации.

Конец апреля того же года пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.

НОВОЗЕМЕЛЬСКОЕ ЗНАНИЕ



тец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар. Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.

Бывало, я спрошу его:

— Дедушко Пафнутий, вам сколько лет?

Он неизменно отвечал:

— Сто лет в субботу.

Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька» или «Викторко». Я и пеняю отцу:

— Батя, у тебя у самого борода с проседью. Какой же ты «Витька»?

Отец засмеётся:

— Глухая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки начал проходить.

— Батя, как же он тебя учил?

— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание брали с практики. Я расскажу тебе о первом моём плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймёшь, как мы учились...

Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песка. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трёхмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика, Ивана Узкого.

Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развёл лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной ещё четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.

Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шёл вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накачивал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.

Я знал, что Анкудинов не пойдёт домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдём обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш подряд два дня и две ночи шёл вперёд, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился ещё больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:

«Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повёл в эту маловидную лахту¹».

¹ Л а х т а — небольшой залив.

Но действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.

Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух людей.

За обедом ученики Ивана Узкого говорят:

«Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: «Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там». Дня через три кормщик говорит: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползёт». А вчера, в канун вашего прихода, высказал: «Завтра, в час большой воды, можно ждать гостей...»

Прямо как колдун читал по тайной книге».

Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:

«Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство».

Анкудинов стал объяснять:

«Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.

Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?..

Я знал, сколько вёрст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста вёрст. Этот счёт мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.

Как мог я в точности определить место вашей стоянки?

Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот вёрст, я сообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.

Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер, Иван Узкий сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».

Расстояние в четыреста вёрст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учёл, что за туманами мы шли без парусов, учёл неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему приходу ещё часиков двенадцать. Его расчёт был точен.

День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданием и не колдовством».

На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.

КОРАБЕЛЬНЫЕ ВОЖИ



устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожями.

Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вёл свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житьё-бытьё. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.

Но вот пришло время, дошло дело — два старинных приятеля поссорились как раз на пиву.

Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику шестого сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали своё место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели чёрные, или чернопахотные реки.

После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил весёлыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодые реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пиновала в низком месте.

— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола. — Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.

— Моя степень повыше, — отрезал Звягин.

— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.

Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись. Звягин осерчал:

— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?

— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские!

— Не величайся, таракан московский! — орад Звягин. — Твой дедушко был карбасник, носник. От Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил. По копейке с плеши брал!

— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не продали».

Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернёт.

Звягин был мужик пожиточный, Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый призадумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».

Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придёт мореходец — иноземец или русский:

— Сведи судно к морю.

У Звягина теперь ответ один:

— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными жожами.

Ещё и так скажет:

— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.

Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить порасспросить».

В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:

— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твоё перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.

У Щеколдина точно пелена с глаз спалз:

«Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!»

Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:

— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!

Звягин обнял друга и торжественно сказал:

— Велика Москва державная!

В ОТНОСЕ МОРСКОМ



Про нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивись, удивись и устрасишься. Расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали.

Беды терпеть да погибать помору не диво. Море — измена лютая. Спроси того-другого робёнка в Поморье: «Где тата?» — скажет: «Вода взяла».

..Море нас поит, кормит, море и погребает. А мы вот от морской напасти спаслись, и таким ли дивом спаслись, да всю жизнь на другую сторону повернуло.

Мы — Белого моря, Зимнего берега народ. Коренные зверобой-промышленники, тюленью породу бьём. В тридцатом году от государства предложили промыслять коллективами. Представят-де и ледокольный пароход. Условия народу были подходящи. Зашли кто в артель, кто на ледокол.

А я да брат старший Егор Иванович не то что на ледокол, а из своей артели убежали.

Сынишка мой Олександр в колхоз бы любил, да отчишку с дядей перечить не посмел.

Сретенева дня дождались: стали флюгера полуношник-ветер сказывать — норд-ост. Зачали наши деревни на промысел снаряжаться. Тюленьи жёнки в эту пору

детей народят, стада зверины на отдых повалятся, и это богатство полунощик к нашему берегу льдинами притянет.

Мы, значит, тройма срядились. Лодочку доспели на креньях¹, погрузили дровец, хлеба, котелок, пики, обулись, оделись по-промысловому, с племенем простились и поволоклись.

Сутки горой шли, други сутки — припаем береговым. На льду и огонёк разведём, поедим и выспимся, лодочкой накрывшись. Путь вороны казали: на зверя же летели. На третий день береговой лёд кончился, пошла разделъна льдина. Беда беду родит — встречу полунощику из-за горы побережник-ветер выскочил. Зачали друг другу в лицо мокрым снегом плевать.

Опасен в эту пору побережник: он лёд от берега отдирает, нашего брата в море уносит...

Остановились, глядим на своего юровщика².

— Егор Иванович, что велишь?

Он шапку снял, ветра пытается, то ту, то другу щёку подставит. А ветер явно с горы, в спину. И Егор командует:

— Заворачивай обратно! Сей день напромышлялись!

А Олексишко забежал на торос на высокой и вопит:

— Дядя! Татка! Юрово!! О, коль велико!

Мы охотники природны. Петухом сердца-ти запели. Встали на льдину, а в полуверсте зверя-то как дров! И любо на них глядеть: посередине матки лежат с робятами. Как бабы в бане, гладят их, моют, плавать учат. Ежели робёнок капризит, мамка его и круто в море роет. Кругом, как стена нерушима, ограда крепка — самцылысуны...

— Егор Иванович, что велишь?!

— Играть давайте!

¹ К р е н ь я — полозья, на которые ставили лодку для перетаскивания её по льду.

² Ю р о в щ и к — староста артели на промысле морского зверя; ю р о в о — стадо морского зверя.

Значит, надо нам зверины ухватки принять, зверем притвориться. Он нас видит, пушай на своих думает.

Лезем на юрово, по душу его морскую, рукавицами гребём, задом подхватываем, головами покачиваем — как есть тюлени! Спину ломит, колени отпали, а любо это и весело!

Вот мы приехали. Душина от них! Глядят, говорят меж собой, что-де ихнего полку прибыло... Тут мы прыгнули на зверя, как волки. Пика свистнула, да кровь пробырзнула. Песню поморским обычаем завели:

Сила земна,
Сила водяна,
Земна толщина,
Морска глубина!
Зверь идёт,
Зверя ведёт!
Четыре ветра,
Четыре вихря.
Ходит сила
Из жилы в жилу.
Зверь идёт,
Зверя ведёт!
День с ночью,
Медь с кровью.
Стрела калёна,
Тетива шелкова.
Зверь идёт,
Зверя ведёт!

Тюлень упал, и другой — твой, и третий опрокинулся. Любо это и весело. Зверь ревет, мы поём, охота нами обовладела. Знай железо блестит, кровь свистит да туши ложатся...

И тут как положом побоище завесило, снег стеной повалил. Опомнились:

— Егор Иванович, что велишь?

А ветер-от с горы да с горы. Не знаем, когда он полнощника одолел. И льдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти. Егор кричит:

— Кидай всё, попадай к горе на пиках!

Не бежим — летим. И чуем: не стоит лёд-от, гонит его разбойный встер. Полыню перемахнули, другу перескочили и — аминь... Поперёк разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам...

И мой Олександр затрясся и меня с дядей — чёрной бранью. Последнее слово кинул:

— Пошто с народом не пошли! От людей бы нас унесло, телеграмм бы наподавали на ледокол, по маякам!

Егору нельзя духом падать, он юровщик:

— Ещё не ревите, ещё не конец! Буде, во своём море останемся, всяко нас к тому ли, к другому берегу прикачает.

До вечера ни единым словом меж себя не перещелкнули.

Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленины пожевали: душная она, рвало нас. Вместо воды — снег. А тюленьи тушки — и постель и окутка.

На другой день показало Летние горы. Лодкой достали бы берега...

На третий день мы наревелись — желанненьки Зимние горы в глазах были. Чалились мы за лёд, всяко к берегу прибархтывались. Да где тут!..

Потом трое суток — лёд, да небо, да вода. Лёд, да небо, да вода... Всего семь дней, семь ночей в Белом море кружало.

Дале туманами шли сутки, не знали где. А ночь привелась звёздная, по звёздам прочитали, что шествие льда — на полночь, в океан. Опять Олексишко вост, опять на меня тоска, опять Егор утешает:

— Ещё не тужите, ещё не конец, ещё не смерти! На свету Горлом беломорским пойдём, должны нас с маяков оприметить.

Утро серое взялось со снегом. Влево Лопский берег чернел. Мы до сумерек кричали. На пику рубаху пове-



«Для увеселенья»



«В относе морском»

силы, махали. Никто не услышал, никто не увидел. Только нерпы в воду булькают. Брат лысуна заколол, в распоротом брюхе ноги грели.

Мы с братом каждый про себя знали, что чем скорей замерзнуть, тем бы краше, но ради парнишки показывали вид надежды.

В Горловине заторами неволило нас пять дён. А лёд мелок, не несёт человека. Беда беду родит: ноги натекли, у рук персты опухли, с тюленины душу воротит, знобит — всё бы спал. Докучаю брату:

— Это конец. Цинга пришла, чёрна смерть...

Он как стукнет меня по шее:

— Это простуда! Ещё не смерть, ещё не конец!

На двенадцаты сутки бедствия вынесло нас в Ледовитый океан. А нам всё одно — только бы крепче заснуть. И уснули бы вечным сном, да двинуло торосом становым. Наша льдина лопнула. Тут разбудились, прыгнули на ноги:

— Егор Иванович, что велишь?!

Он огляделся: во все стороны развеличился окиан-батюшко.

Снял наш юровщик шапку и выговорил:

— Брат, племянник!.. Смерточка пришла!

Подаёт из сумки свёрток мне, парню, себе:

— Хранил для торжественного дня. Сей день приходит.

Развёртываем. У каждого рубаха смертная долгая, саван с куколем¹, венец на голову, лестовка² полотняная.

Я заплакал, кланяюсь:

— Благодарствую, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.

А Олександр недоумеваает:

— Дядя, разве ты знал, что мы помрём?!

¹ Куко л ь — здесь: капюшон.

² Лёст о вк а — чётки у староверов. Полотняные чётки клали с умершими.

Брат говорит:

— Дитя, вековечный это поморский обычай — смертную одежду в море брать.

Умылись мы, волосы, бороды расчесали, обрядились в рубахи, в саваны, в венцы. Поклонились под южный ветер в родиму сторонушку, с желанными простились.

Великим падежом пал Олексишко да запричитал:

— Мила моя матушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанна невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра не доиграна! Дорогой друг Герман Олегович, песенка наша не допета!

Обычай родительский — детищу своему живота, здоровья хотеть, а я тогда сыну одинакому смерточки скорей молил.

Отошёл отпев, стали мы друг другу в очи глядеть на последнее прощание. Нагляделись, тогда — обычаем мёртвых — глухо закутали себе лица саванным наголовьем. Легли. И учало нас утягивать в смертные сны...

Часы прошли или минуты, услышал я звон явно, близко. Говорю:

— Брат, слышишь звон?

Он как со сна:

— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале.

Дале я забылся... Да вдруг в самые уши гремит, гудит!.. Дрогнул я, сдёрнул куколь, а над головами-то... аэроплан!!! Не блазнит ли? Не привиденье ли? Нет, кружит, трещит... Схватил я пику, машусь да реву:

— Пособите, пособите!!

И парнишко мой:

— Батюшки миленькие, пособите!

А оно скружило над нами два накона и потерялось...

О, горе взяло!.. Лучше бы не казался, надеждой не манил. Эту ночь наборолся я с Олександрушкой моим.

Кричит:

— Дядя или тата! Заколите меня пикой!

Топиться лез. И бил я его, и обымал, и опять бил, и плакал над ним.

А о полдень, как рог серебряный, запел над нами аэроплан.

Мы скакать, мы реветь:

— Помогите!!! Пособите!!!

Что же далее? Кружит машина всё ниже да ниже, да надлетела над нами и выронила посылку.

Мы опять:

— Товарищи! Возьмите нас!

Они не слышат. Улетели птичкой.

Посылка в воду пала, пикой добыли. Там консервов две коробки, в каждой фунта по три, сухарей кил пять, мазь кака-то и моршечки банка. Вот сколь люди внимательны — моршечки послали! И письмо. Письмо сто раз на дню читали:

— Товарищи! Мы вчера оприметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. На аэроплан принять вас не можем для того, что льдина мала для разгону. Но мы вас не оставим.

Ну, ожили мы, воскресли. Шабаш помирать-то! Хлебу рады, письму рады. Холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем пиками сидя да лёжа. Ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять — нет того хуже: разводим плывём — боимся, что от парохода утеряемся; в затор попадём — тужим, что пароходу не пробиться.

Однажды как бы стрельбу слышали, ещё машину почули. С той поры без отдыха блазнило: то дымом пахнёт, то мотор стучит. Без дня неделю этак... Извелись!

В последнюю ночь сменный ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому.. Тут и свисток донесло, и дымом запахло. И метелица нас заносит. Остатню силушку собирает, чтобы не угаснуть.

Но как обутрело, тишина стала в мире, и мы головы подняли из-под снега. Пароход стоит саженьях во ста...

Обезумели от радости. Кричим, как на лошадь:

— Тпру! Тпру!

Да ползунком по льдинам-то. И с парохода нас увидели, свисток дали, трап спустили.

Пароходские нас под руки принять хотят, а мы «ура» кричим да им в ноги падаем.

По трапу сами взняться не могли, нас носком занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому поднесли норвежского. Сам капитан Владимир Иванович Воронин обихаживал за доктора. Он воспитывал нас и беспокоился нами, как отец родной.

Дён через десяток я с сынишком помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в мурманской больнице немог. На другой год мы втроём на этот ледокол в коллектив зашли.

Всего погибали мы в отнoсе морском восемнадцать дён. Семь дён в Белом море, пять дён в Горловине, шесть дён в окияне.

КРУГОВАЯ ПОМОЩЬ



а веках в Мурманское становище, близ Танькиной Губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитьё сделали прочно и, за светлостью ночей, скоро. Датский шкипер спрашивал старосту, какова цена работе. Староста удивился:

— Какая цена! Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?

Шкипер говорит:

— Никакой ряды не было. Едва моё судно показалось ввиду берега, русские поморы кинулись ко мне на

карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.

Староста говорит:

— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.

Шкипер говорит:

— Если нет общей цены, я желаю раздавать по-ручно.

Староста улыбнулся:

— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.

Шкипер, где кого увидит из работавших, всем суёт подарки.

Люди только смеются да руками отмахиваются.

Шкипер говорит старосте и кормщикам:

— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.

Кормщики и староста засмеялись:

— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но, ежели такое твоё желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дороге, у креста. И объяви, что может брать кто хочет и когда хочет.

Шкиперу эта мысль понравилась:

— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.

Шкипер поставил коробка с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер, по своему благородному обычаю, желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у креста. Бери, кто желает.

До самой отправки датского судна коробка с подарками стояли среди дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.

Шкипер пришёл проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:

— Если вы обязаны помогать, то и я обязан...

Ему не дали договорить. Стали объяснять:

— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это всё одно. Все мы, мореходцы, связаны и все живём такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».

ГРУМАНТ-МЕДВЕДЬ



З веробойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу:

— Поживём по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки.

Старосте они говорили:

— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.

..Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шитья шить. Не больше стольких-то часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.

Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужинают и спать. В три часа встают и печь затопляют. И еду готовят. Всё, как дома, на матёрой земле.

День-два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом:

— Давай, брат, всхрапнѐм часиков восемь?

К нарам подошли и, вместо шкур оленьих, видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы; ошетинился...

Не упомянат молодцы, как двери отыскиали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели. Староста говорит:

— Им за ослушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте двери. Их надо поучить.

Братаны в дверь стучат и в стену колотятся; их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают:

— Мы обувь шьѐм, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубами скалит, глаза как свечи светят...

Староста говорит:

— Это Грумант вас на ум наводит. Са́м Грумант-батьюшка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили, Грумант вас за это постращал.

ГРУМАЛАНСКИЙ ПЕСЕННИК



старые века живал-зимовал на Груманте
посказатель, песенник Кузьма. Он сказывал, и пел, и голос у него, как река, бежал, как поток, гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неутомлённая сила к пенью и сказанью?

Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришёл. Три раза чествовали чашей — два раза отводил её рукой, в третий раз пригубил и выговорил:

— Не стою я таких почестей.

Дружина говорит:

— Цену тебе знаем по Груманту.

Кузьма вздохнул:

— Здесь мне цена будет дешевле.

Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:

— Память у тебя по-прежнему, только сила не по-прежнему. На зимовье ты как гром гремел.

Кузьма отвечал:

— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а Седой Океан песню пел.

МАРЬЯ ДМИТРИЕВНА КРИВОПОЛЕНОВА



Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополоновой — река Пинега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север ещё в четырнадцатом веке.

Неграмотная, но любознательная Кривополонова рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала:

«Прежде на Двине, на Пинеге, на Мезени чудь жила: народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы — новгородцы, у нас волос тонкий, как лён белый или как сноп жёлтый.

Мы, русские, ещё до похода на Пинегу и карбасов не смолили, и парусов не шили, а чудь знала, что русь идёт,— раньше здесь леса были только чёрные, а тут появилась берёзка белая, как свечка, тоненькая.

Вот мы идём по Пинеге в карбасах. Мужики в кольчугах, луки тугие, стрелы перёные, а чудь молча, без спору давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чудские остались.

Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова Гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки — они любопытные. Им охота посмотреть, что за русь? Похожа ли русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождём они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что русь мимо пробежала:

— Ах, мы, дуры, прозевали!

Для увеселенья и запели свою песню. По сказкам-то, никому во вселенной чудских девок не перевизжать.

Было утро и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу. Старики сказали:

— Вот наш берег: здесь сорока кашу варила.

Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить...

В ту пору здесь у водяного царя с лешим царём война была. Водяной царь со дна реки камни хватал и в лешего царя метал. Леший царь ёлки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шибал. Мы водяному царю помогали. И за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега...

Это всё мой дедушка рассказывал. Он от своих прадедов слышал. От них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила и с девяти лет возраста внялась¹ в его былины и до вас донесла».

¹ Внялась — вникла, поняла, запомнила.

Имя шестидесятилетней сказительницы Кривополеновой известно стало науке ещё в конце прошлого столетия. Но записи её былины покоились в академических шкафах, а Марья Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жила в большой бедности: «Не замогу работать, пойду побираться».

Побиралась, на свадьбах невестины речи пела, на похоронах вопила. Тем и кормилась до семидесяти двух лет!

В 1915 году отправилась на Север О. Э. Озаровская, московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний. Вскоре она писала в Москву:

«Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу её в Москву».

Так попала пинежская сказительница в Москву белокаменную. Не многоэтажные дома, не автомобили поразили Кривополенову. Московской старине радовалась по-детски она. Побывала в Кремле, посмотрела гробницу Ивана Грозного, нашла даже за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова. Всё, о чём пела она всю жизнь в былинах,— всё оказалось правдой!

Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для неё оправой червонного золота — она открыла людям талант сказительницы. В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали «бабушку Марью Дмитриевну». Шёл 1916 год. Помню её выступление в большой аудитории Московского политехнического музея.

Слушателей набралось до трёх тысяч: студенты, гимназисты, художники, учёные.

Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодёжь приветствовала её рукоплесканиями и возгласами:

— Здравствуй, милая бабушка!

Кривополенова ответила тремя истовыми поясными поклонами на три стороны, по старинному обычаю:

— Здравствуй многолетно и ты, Москва, юная и прекрасная!

И зазвучала странная, непривычная мелодия, несхожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, прониклись содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на Север, нерушимо сохраняла общерусскую родную речь.

Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал её. Маленькая, худенькая, одетая в тёмный, старинного покроя сарафан, застёгнутый сверху донизу на серебряные пуговицы, в тёмном вдовьем повойнике, она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху. Приехав из дремучих лесов Севера, она не боялась многолюдной аудитории — наоборот, полюбила её, чувствовала себя непринуждённо и всегда и везде умела держать её в напряжённом внимании.

Слушатели воочию видели древних богатырей — Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню, — слышали тяжёлую поступь богатырских коней.

Сказительница рисует картину вражеского нашествия на Русь:

В солнце знаменье страшное,
В полночь звёзды хвостатые,
Пред зарями земля тряслась,
Шла Орда на святую Русь.
На Руси петухи поют,
Не спит Рязань полуночная,
По стенам не спят караульщики,
По угóльным башням дозорщики...

И два, и три часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха.

...Не раз приезжала Кривополенова в Москву.

Посетила Марья Дмитриевна Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая — день её начинался с че-

тырёх часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла.

— Глядите-ко,—обратилась она к окружавшим её посетителям.— Жили-были преславные богатыри. Не сказка-побаска, а жизнь бывала: Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает. На руке у него палица висит, свинцом налита, а ему как рукавичка.

И сказительница запела былинку:

Вздымет Илья палицу
Выше могутных плеч,
Жахнет палицей впереди себя,
Отмахнёт, отмахнёт созади себя,
Вправо, влево стал настёгивать,
Вражью силу обихаживать...

Взглянув на Добрыню, запела с улыбкой:

Три года Добрынюшка стольничал
У князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
У неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество врождённое,
Хитрость-мудрость природная...

В 1921 году Кривополенова в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Озаровскую, что рад познакомиться с знаменитой сказительницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером. Озаровская зовёт:

— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал!

Кривополенова сурово отвечает:

— Марья Митревна занята. Пусть подождёт.

Нарком ждал целый час. Марья Дмитриевна наконец вышла:

— Ты меня ждал один час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички. Сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на три зимы...

Марья Дмитриевна и наркома покорила умом и достоинством.

...Вернулась Марья Дмитриевна на Пинегу. Снова началась бродячая жизнь сказительницы.

В 1924 году на Пинеге был недород, бесхлебица. Опять старухе пришлось себе и внукам добывать хлеб в скитаниях по деревням.

Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привёл старуху на постоянный двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростили местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечу. Сейчас запоёт петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла:

— Прости меня, вся земля русская.

В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки...

Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен.

ГНЕВ



Вдвинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и его брата Гореслава.

На Лихослава пал гнев Студёного моря. По той памяти место, где «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево.

Лихослав был старший брат, Гореслав — младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надёжно отпускал сыновей к Новой Земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна мать породила, да не одной участью-талантом наградила.

Гореслав скажет:

— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!

Лихослав зубы ощерит:

— Нет! В торгу любо, а в море люто.

Отец нахмурится и скажет Лихославу:

— Хотя ты голова делу, но блюдись морского гневу.

По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чём не стал с дружиною спрашиваться:

Я-де на ваше горланство добыл приказ.

И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.

Люди ближние и дальние говорили Гореславу:

— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание своё морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.

Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:

— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.

Таким побытом братья опять пришли на Новую Землю.

Добыли и медведя, и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться в Русь. А Гореслав с товарищем ещё побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.

Закружились белые мухи: снег слепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя; знают, что в лодье их ждут и клянут.

А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погibelью пошёл».

И Лихослав начал взывать к дружине:

— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюёт и сморкает.

Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:

— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут — надобно идти искать.

Кормщик затрубил в рог.

Лихослав освирепел:

— Ребята! У них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!

Доброчестные дружинники говорят:

— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.

Лихослав кричит:

— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!

В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землёй, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье... Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымаёт управление и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.

Гореслав и закричал:

— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!

Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, поте-
ряется да околеет там, а он стоит как милый.

В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хва-
тает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы.
Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула
в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил.
Третья стрела прошла рукавицу и ладонь, когда Горес-
слав в ужасе прикрыл глаза рукою.

Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепене-
ли море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав,
добрый, кроткий, стал пристрашен. Он грозно простёр
окровавленные руки к морю и закричал с воплем креп-
ким:

— Батюшко Океан, Студёное море! Сам и ныне рас-
суди меня с братом!

Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев
учинил в море. Седой непомерный вал взвился над
лодьею, подхватил Лихослава и унёс его в бездну.

Утолился гнев Студёного моря. Лодья опрямилась, и
люди опаматовались. Дивно было дружине, что все они
живы и целы.

Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной
рукой. Дружинники от мала до велика сошли на берег,
поклонились Гореславу в землю и сказали:

— Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь
суди нас.

Гореслав встал, поклонился дружине тем же обыча-
ем и сказал:

— Господо дружина! Все суды прошли, все суды
кончились. А у меня с вами нету обиды.

С этой дружиной Гореслав и промышлял до старо-
сти. Дружина держала его в чести, а он их — в брат-
стве.

МАТВЕЕВА РАДОСТЬ



а новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унёс.

Матвей Иванов Корельский сказывал:

— Родился я в Корельском посаде на морском берегу. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи-островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала подёнщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела.

Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одинёшенек. Лохмотья с плеч валяются, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться...

В такой маесте, в такой позорё и вырос. О празднике молодёжь на улицу пойдёт петь, гулять, играть, а я в лес побегу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.

Весь я пристыдился. Так уж и привык, что моё счастье — дождь да ненастье.

Двенадцати годов ушёл я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.

Три лета в зуйках ходил. Ушёл на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.

И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.

У меня такой ум-от обозначился — нать своё нажить. Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорный стал; давно ли с сумой бегал, а

теперь задумал карбас, свою промыслову посудину строить.

Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмёшь. А чтобы взять, надо судёнышко. Без своей посуды, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь судёнышко моё мне не снилось: вижу, будто промышляю на нём, и рыбы — выше бортов.

Год за годом двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно на карбас.

До тонкости у меня всё было сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лопью¹ договорился, мастера в Коле нашёл.

Лодьи строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу как в гости ходил.

Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то судёнком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бояся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал...

Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы пала несосветимая погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не успели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое успели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь...

Сутки океан-батюшко нашим карбасом играл, как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а судёнышко моё погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал товарищей объявить жителям, а сам ещё двои сутки на этой горе волосы рвал да

¹ Лопь — лопари: исконные жители Кольского полуострова.

рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода...

Добры люди поставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, водились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.

Тут весна подошла. Лёд из губы вынесло, дни заблестели.

Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли, мужик, бока править будешь?

Меня ровно кто на ноги поставил.

Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку... А свету! А солнца! А ветру!

И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился... Топнул ногой о камень да кричу:

— Остёр топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!

Так я выздоровел. Опять, значит, работу как бешеный хватаю.

Часов шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своём судёнышке плыву и паруса что снег, и я вольный промышленник, — дак и окутки в сторону и постели прочь... И ночь не сплю, работу ворочаю.

Люди надо мной посмеиваются: «Пока, — говорят, — Матюша, твоё солнце взойдёт, роса очи выест».

Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего судёнка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно — да ещё океанское, трёхмач-

товое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности...

Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмёт, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отработывали.

Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберёмся у того же хозяина. Одно остаётся петь:

Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!

И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситца купить негде.

Теперь понимаете, как трудно копейку-то откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.

У какого дела надо втроём-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевёртываются, а я не могу тихо работать.

Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.

...Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдёт, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.

Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.

Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряжался, не гуливал... Купил в Норвеге брюки-клёш, синюю матроску с большим воротником, полотняну маниш-

ку, платок шейный шёлковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.

И... тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.

Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».

А пожил с Матрёной и увидел в ней помощницу несусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.

Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядёт, ткёт, косит, грибы, ягоды носит. Матрёна моя и мужскую работу могла. Тёс тесала, езы¹ била, кирпичи работала...

Ребятишки родились — труднее стало. А Матрёна, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет...

В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу клали.

В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шкуны, одна — что твой фрегат.

В море ли, на берегу ли работаю — всё нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».

Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.

Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.

¹ Езы — колья, которые вбивают в дно реки и переплетают прутьями для ловли сёмги.

Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублём я на волю выкупался сам и детей выкупал.

Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.

По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.

Хозяин мой, Василий Zubов, в нас, рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.

Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встаёт, запосматривал на меня немило. Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:

— Эй, любезный! Люди смеются да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!

— Про людей не слыхал,— говорю,— может, и пароходы. А вот насчёт шкуны я подумываю.

Он зубы оскалил:

— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по моему, спустить бы тебе на воду нищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища су-ма. Экой бы корабль по тебе!

Это он меня да мать мою нищетой ткнул...

Сердце у меня остановилось:

— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди... Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!..

Кругом народ, стоят, молчат.

Уж не помню, чего я ещё налягал языком; что было на сердце, всё вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрёл прочь.

Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе развередил.

Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник всё слышал, он Зубову слуга... И до того мне Матрёшку да ребят увидеть захотелось!.. А мимо пристани гальот знакомого человека и плывёт, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.

Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.

Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.

Дома сельдь промышляю, а сердце всё беспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тятать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул...

Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:

— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?

— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два...

Он воробьски огляделся:

— Ну-ко, зайди в сени.

В сенях и шепчет:

— Хочешь, тебя со шкуною сделаю на будущую весну?

Я и глаза вылупил, а он:

— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.

Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мёд пью. А Васька поёт:

— Знакомый норвежский куфман¹ запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тыщонки —

¹ Куфман — купец.

новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч на восемь. Понимаешь, Матюша,— Васька-то говорит,— мы норвецкий пароходик и сбавим за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то, по три тыщонки на брата...

Я глазами хлопаю:

— Это кого же вы в братья-то принимаете?

— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тыщонку ты положишь.

Я заплакал:

— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капитала семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.

— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль всё одно пополам.

Я воплю:

— Дай до утра подумать!

Ночью с Матрёной ликую:

— Три тысячи барыша... Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, говорит, Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу...» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!

Жена говорит:

— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.

Утром сказываю своё решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:

— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!

Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошёл, долго там что-то вдвоём гоношили.

Потом меня вызывают. Чиновник бумагу съёт:

— Подпишись.

А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитатъ, что в бумаге писано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.

Накаракулил подпись, может задом наперёд,— и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и ещё наказывает мне:

— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полеготеньку.

Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.

Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбёшку добывают, а Матвей Корельский от компаньона телеграммы ждёт.

Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошёл.

Весь распался что-то, весь поблек.

Жена уговаривает:

— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках задержки. Может, Зубов и денег ещё не получал.

А у меня сердце болит, в трубочку свивается.

Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.

В паузну сам полетел.

Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. «Может,— думаю,— семейные мешают». Шепчу:

— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету...

А он на всю избу:

— Что? Какие у нас с тобой секреты?

— А дельце наше, Василий Онаньевич?

— У Василий Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!

— А пароход-то!

— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.

— Да ведь деньги-то у меня брали...

— Что? Я у тебя, у голяка — деньги? Ха-ха-ха!..

Я держусь обеими руками за стол, всё ещё думаю — он шутит.

— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?

— Какую бумагу?

— Зимой делали.

— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси её и приведи писаря.

Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся.

Зубов рывкнул:

— Читай Корельскому его бумагу!

Писарь читает:

— «Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового промышленника условиях. Договорённую плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.

М. Корельской».

...Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и всё, всё прахом взялось!

Все отнял Зубов, оставил с корзиной...

Тут праздник привёлся. Я вытащил у жены остатние деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам: Меня связали, бросили в холодную.

После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отпёрся.

— Пусть подаёт в суд. Вы ставаете свидетелями?

Мужики ответили:

— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придёт пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку.

Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.

Да я бы так не убивался, кабы одинокой был. Горевал из-за робят, из-за жены.

С воплем ей говорю:

— Ох, Матрёшка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!

Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:

— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни, деревня-то как за нас восстала... Это дороже денег! Гляди, мужики с вёслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!

Однако я в море не пошёл, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:

— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова...

— Все хозяева с зубами.

Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздолыцу поплаваю... Сердце всё как тронут. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.

Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблём батраку Матюшке не владеть, — откладываю робятам на первой подъём, чтобы не с нищей корзиной жизненной путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них моё сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.

После Зубова разоренья ещё пятнадцать лет я не от-

дыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено... Сердита кобыла на воз, а прёт его и под гору и в гору.

В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.

Матрёшке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не сможет, сунется на пол:

— Робята, походите у меня по спине-то...

Младший Ванюшка у ей по хребту босыми ногами и пройдёт, а старшие боятся:

— Мама, мы тебя сломаем...

Тяжёлую работу работаем, дак позвонки-та с места сходят. Надо их пригнетать.

Матрёна смолоду плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне её тошнѣхонько жалко.

— Матрёшишко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе ещё рубаху стирать буду!..

Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..

Что же дальше? Дальше германска война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводешке дергаюсь; только и свету, что книжку посмотрю.

А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительное собрание срядился.

Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасно утро бреду с завода, а в Сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под Север, кто под юг... Что стряслось?

— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла...

Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Всё как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины как тигр выскочит...»

С жёнкой поздороваться не дали, поволокли на собрание. Собрание народа в Васькиных палатах идёт вторые сутки.

Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:

— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!

Над столом красны флаги и письма, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и моё место. Васька бы меня теперь поглядел...

Шепчу соседу:

— Зубов где?

А председатель на меня смотрит:

— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?

Я встал во весь рост:

— Василий Онаньев Зубов где-ка?

Народ и грянул:

— О-хо-хо-хо!! Кто о чём, а наш Матюша о Зубове сохнет! О-хо-хо-хо!!

Председатель в колокольчик созвонил:

— Увы, товарищ Корельской. Оставил нас желанный Василий Онаньевич, успел за границу без воротни.

— А судно-то егово? Это не шутка, трёхмачтово океанско судно!

— Станный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении...

— Я?.. В моём?..

— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.

Я заплакал, заплакал с причетью:

— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал,

по погосту моё плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: «Полетим, говорит, по широкому морскому раздольицу!» Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неумоимо...

И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:

— Просим, Матвей Иванович! Просим!

Ну, и я на кого ни взгляну, слёзы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:

— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести принимай!

...Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушёл. Сам с робятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше судёнышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным вапом, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыми карнизами.

Обновлённый корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыми литерами: «Радость». И на корме написали: «Радость. Порт Корела».

За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спускать. Народишку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.

Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской гибели... Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Всё как трид-

цать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а слово взявши, полным голосом всенародно говорю:

— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая по-словка: «Ничего, доведётся и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоёшь?»

Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».

Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят...

Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская гибель. Сорок пять мне было, когда меня Зубов в яму, пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Всё наше воздыхание тут. Каждой болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена и каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена... Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.

Уж очень это люблю!..

Моё сказанье к концу подходит. Ныне восьмой десяток, как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не велики ещё годы... Десять лет на «Радости» капитаном хожу.

Как посмотрю на «Радость», будто я новой делаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старше был.

Оногды земляна старуха, пустыньска начётчица, говорит мне:

— Дикой ты старик,— всё не твоё, а радуйссе?!

А я ей:

— Дика́ ты старуха,— оттого и радуюсь, что всё моё!

СОЛОМОНИДА ЗОЛОТОВОЛОСАЯ



Мы любуемся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью, но мы мало знаем их быт, условия труда, их самобытную философию.

Здесь передаю дословный рассказ пинежской крестьянки Соломонида Ивановны Томиловой, в замужестве Чёрной.

«Наша река Пинега выпала в Северную Двину. Тут леса дремучие, реки быстрые, обрывистые горы — берега.

Мы прибежали на Пинегу в те времена, когда татары накладывали на Русь свой хомут, значит, годов семьсот назад.

Наши мужья, сыновья уходили на промыслы. Мы, жёнки, девицы, сидели в своих деревнях, как приколоты. Я от юности до старости не бывала и в уездном городе.

Держали мы коров да овец. Промышляли сёмгу. Земля у нас нехлебородимая. Когда мужа взяли на первую Отечественную войну, я одна выпалаха сохой поле, посеяла шесть пудов жита-ячменя. Сочти, каков был участок. Земля не оправдывала себя, а от неё не



«М. Д. Кривополенова»



«Матвеева радость»

отвяжешься. Посеемся, всходы зазеленеют, а ночью с моря упадёт мороз, значит, своего хлеба не будет. Тогда мужики по первому снегу пойдут промыслять белку и куницу, каждый хозяин со своей собакой. Которая собака куницу понимала, та на белку не глядит. Бывало, что муж и брат по пятьсот беличьих шкурок выносили. Куница, белка, сёмга — товар дорогой, а скупщики платили дёшево. Одевались мы пряжей: пряли лён, пряли овечью шерсть. Пряжу красили сами. Краску варили из осиновой и ольховой коры. Изо дня в день сидим за пряжей, за тканём. Я, бывало, за один день вытку двадцать четыре аршина полотна.

Ещё у нас, у девиц, у жёнок, летом была забота — ягоды собирать. Я, бывало, по два пуда черники вынашивала. В лесу и ночью. Чернику вычёсывали из зелени особым гребнем, как бы чашка с зубьями. Однажды беру чернику, ссыпаю в корзину и вышла на поляну, а передо мной медведица стоит с двумя медвежатами. Я прижалась спиной к берёзе, а медведица начала на меня плевать, потом стала мох драть, всю меня мхом залепила. А у меня с собой были спички, я и зажгла на берёзе ленточку бересты. А зверь огня боится. Медведица пнула ногой медвежат, они полетели в кусты, как мячики. И она за ними ушла.

Однажды проходили нашими деревнями учёные люди. Говорят: «Какая у вас природа прекрасная!» А мы работаем, не разгибаясь. Бывало, ужинать сяду, ложка в руках не держится.

Так и прошла моя молодость день за днём, год за годом. Одна была отрада: я в пятнадцать лет украдкой выучилась грамоте. Отец отпускал меня к одной уважаемой старушке помогать по хозяйству, а она положит передо мной книгу. Книга в кожаном переплёте с медными застёжками. А я не знаю, как к книге приступить, открываю книгу с конца. А старушка стала называть мне буквы, из букв складывались слова.

И я пристрастилась к книгам. Дома читать было

нельзя: девке грамота ни к чему. А меня пошлют хлев чистить, я управлюсь быстро, из-за пазухи книгу выну, сажу около коровушки и читаю.

Исполнилось мне семнадцать лет. Маменька вынула из сундука свой подвенечный наряд, в этом наряде и бабка моя венчалась. От ворота до подола круглые серебряные пуговицы, на голову стали прилаживать жемчужное кружево, в уши вдели жемчужные серьги. Вижу на себе подвенечный наряд. Спрашиваю: «Кого замуж выдаёте? Почему на меня примеряете?»

Отец отвечает: «Выдаём тебя замуж за Степана Чёрного. Сегодня к нам придут сваты».

Я заплакала. Отец говорит: «Сядь, молчи. Реветь будешь по уставу, когда девицы запоют песню».

А в доме у жениха такие же сборы: надели на него шёлковую рубаху румяного цвета, серебряный пояс, жилетку с часами. Сваты собрались, а Степана нет. Не в лес ли убежал? А он дома за углом сидит с ребятишками, в карты играет. У Степана были кудри мягкие, как шёлк. Отец и схватил его за кудри, и ведёт по деревне к нашему дому, а Степан идёт, слезами обливается, плачет с причетью: «Тятенька, не хочу жениться!»

Народ смеётся:

— Невеста твоя дома сидит, молчит, как каменная, а ты на всю деревню причитаешь.

Зашли в избу. Я встала, поклонилась. Спросила:

— Степан Дмитриевич, почему ты меня выбрал?

Его отец говорит:

— Выбирать не его дело и не твоё. Мы, родители, сговорились, и мы тебя не за красу берём, не за отцово богатство. Берём за твой ум-разум. Ты в деревне всех девиц умом-разумом перевысила.

Стала я жить у мужа в доме. Я в такой грозе дома выросла, с кем угодно и где угодно уживусь.

Муж меня ни разу в жизни не толкнул, не ударил. Разве в сердцах обзовёт меня «рыжая беда». А в деревне прозвище мне было Соломонида Золотоволосая.

Кроме книг, у меня от юности до старости осталась ещё одна отрада: каждый день что-нибудь деревянное поделать. Помню, нарубила чурок, вытесала птиц, зверей, людей и приколотила к крыльным столбикам. Отец забранился: «У тебя на уме одни потешки». Тогда я под князевое бревно, которое крышу содержит, вытесала солнце со звёздами. Отец это похвалил.

Был у меня брат Трофим. Я с топорком, а он с лоскутками, с нитками, с иглой. Мастер был шить куклы. Сошьёт полотняного человечка, набьёт льняными оческами и оденет по нашей моде.

Однажды пропадал где-то целую неделю, только обедать домой прибежит. Скрывался в лесной избушке и сшил целый хоровод девиц. Вся деревня приходила любоваться. Он везде лоскутки выпрашивал — шёлковые и бархатные.

Трофим не любил сидеть на одном месте. Часто уезжал в Архангельск. Будучи женатым, пропал на целый год. Уж стали поминать за упокой — и получаем письмо из Москвы. Все российские города обошёл и объездил.

После Октябрьской революции прибежал домой, жил неделю. День и ночь уговаривал меня:

— Ужели ты, сестра, как пень в лесу, будешь здесь догнивать? Поезжай в Москву. В Москве новая жизнь открылась. Там тебе дело найдётся. Слово моё тайное и крайнее. Весной по первому пароходу плыви в Архангельск, оттуда по железной дороге в Москву. Адрес дал точный.

Всю зиму я жила сама не своя. Дочери говорят:

— Ты, маменька, что-то задумала.

Я отвечала:

— Задумала сплавать в Москву на месяц. Вы взрослые, с отцом будете хозяйством управлять.

Пришла весна — большие воды. Пароход к нашим деревням подошёл. Я сумку-котомку за плечи. Со всей семьёй большим обычаем простилась, коровушкам в

ноги поклонилась. Никто из семейных мне поперёк слова не сказал. Муж до парохода проводил. Крикнул мне вслед:

— Соломонида, не плавай!

Я заплакала.

Больше я с ним никогда не видалась.

В Москве я определилась уборщицей в институт. Сюда приходили дети слушать рассказы и читать книги: один день — старшие, другой — мелкие ребяташки. Я стояла у входа, сортовала детей, чтоб старшие не путались с младшими. Канители было много.

Вечером к заведующей приходили художники казать свои рисунки. Меня пригласят к чайному столу:

— Соломонида Ивановна, расскажите что-нибудь о вашей родине.

Я рассказываю и рисую промышленные снасти, что на зверя, что на птицу, что на рыбу. Они слушают, слова не проронят. Вечера не хватит, ночи прихватим. Художники показывали свои картины. Я тоже пристрастилась к большим листам. У себя в кухне расстелю во весь стол кусок обоев и обдумываю рисунок. Чем я рисовала и красила? Наколю лучинок, свяжу в снопики, положу в печь, чтобы обуглились. На листе проведу дорожки крест-накрест, из одного угла в другой. Обозначится середина. Тут нарисую человеческий лик или звериный. По сторонам жительство людское или звериное. Круг меня художники стоят, переговариваются тихо и умственно.

Подарили мне рисовальную тетрадь и краски в ящичках. Это я убрала в сундук: пригодится внукам.

Краски мои были: вакса чёрная, вакса — коричный цвет. На веретено навяжу тугие узелки с черникой и другой цветной ягодой, и начнёт моя рука летать, как птица, из края в край. Нельзя уронить капельки: обои — материал рыхлый, ягодный сок жидкий.

Художники стоят, дивятся. Я говорю:

— Что же вы, государи, хвалите безграмотную старуху?

Они отвечают:

— Соломонида Ивановна, редкий из нас умеет распределить по листу рисунок так соразмерно и с такой быстротой и чистотой разнести жидкий ягодный сок.

Ночью я лежу, разбираю их речи, как книгу читаю. Великое дело, когда всем наукам обученные люди художество понимают. Не напрасно я в Москву приехала!»

ДОЖДЬ



та оказия случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по Северной реке причаливали к деревням, красили портна¹, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:

— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.

Фатьян отмахивался:

— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-то река с деньгами живёт? Здесь смолу курят, мы холсты красим: денег класть не во что, кошелька купить не на что... Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.

Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник² — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали

¹ Пóртна — домотканые полотна. На них «набивали» узор с помощью специальных досок.

² Шелóник — юго-западный ветер.

моря. Боязливо слушали рассказы о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковинку не только деревенскому парнишке.

А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:

— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят: срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Налечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.

Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжёлыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастера любила.

Работали — как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил:

— Эстолько товару наработано. А морем поплывём, кораблик залеснёт валами. Товар замокнет, залесневает, запихтевает...¹ Тогда куда мы, человеки разорённые и многодолжные?

Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищей, добавлял свои резоны:

¹ Запихтевает — отсырев, придёт в негодность.

— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.

Фатьян горячился:

— Один уеду! Околевайте без меня.

— Одного тебя не пустим. Не даим тебе кукушкой в море куковать.

Приятели согласились неожиданно:

— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.

Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:

— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет.

Фатьян из приказа зашёл в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием!.. Столько товару нет, сколько пошлин правите».

В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал её бойко глазом и расплылся в улыбку:

— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Позвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.

Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну:

— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!

Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:

— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю... Какой державы будете?

— Верноподданный заморских королей.

— Чем изволите заниматься?

— Дамский туалет, маскарад костюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести

лет! Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию, и поедем вместе на завод. Торгови дом Фатьян и К°. Шикарно?

Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал:

— Опасаюсь мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаём отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные¹. Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званию и художники по знанию. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.

Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо.

— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдёте в компанию с нами... Но что же вы не пьёте, друг Фатьян? Ваше здоровье!

У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:

— А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?

— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок.хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.

— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдёт, а моего аршина² не возьмут?

— Барыши пополам, мистер Фатьян.

— Слово дадено — как пуля стрелена, — сказал Фатьян. — Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал — крепче узла завязал.

¹ Купцы первогильдейные — в дореволюционной России купцам присваивали разряды-гильдии в зависимости от того, насколько они были богаты и чем торговали. 1 гильдия — высший разряд.

² Аршин — русская мера длины, равная 71 сантиметру.

У Пыха глаза сделались весёлые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал:

— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?

— Для производства моделей. Недельки на две.

— К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделяй свои кадрили-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот такая: на чём товар к месту доставим? Море сей год непогодливо.

— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!

Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:

— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.

Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:

— На пароходе поплывём. Я себя не оконфузил. Пых своё, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.

Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:

— Они какой державы люди? Званья какого?

— Верноподданные заморских королей... А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урождённый граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.

Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь схватили вёдра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не вели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зелёная. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы, в оконце. После докладывал Фатьяну:

— Намешано у них в вёдрах всякого сословия: жёлтого, зелёного, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает... И плюют, и дуют, и пеной пырсают. Высушат и мылом наложат. А сидят не со свечой: новомодный свет, карасин горит.

В конце другой недели Тренька доносил:

— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу: сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.

Фатьян поскрёб в затылке:

— Твори, господи, волю твою!

Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюга валил крошечный дым.

— Портной гадит — утюг гладит, — стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем: опытный земляк ушёл по должности в море. Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил, что пароход будет грузиться на морском заводе тёсом, и как раз во время гулянья. Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:

— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.

— Из пены! — огрызнулся Пых.

— Хм... пена — дело лёгкое.

— У нас за морем из пены верёвки вьют.

Ночью пароходхватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:

— Парохода вы домогались — получайте пароход!..

Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:

— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!

Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани.

Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затейку. Поставили себе шатёр особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху наклепили ленту-вывеску: «Пых и К°. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них: взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: жёлтая земля, синие дороги.

Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обзадорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще зазывает:

— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн костюм! Три рубля комплект!

Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты»:

— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?

Фатьян в этот день не опочинился¹. Склавши руки сидел, как невеста женихов дожидаячи.

Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:

— Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!

Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:

— Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя. А у Пыха туалеты как цветы.

Фатьян негодовал:

— А мой набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.

— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у

¹ Не опочинился — не начал торговать.

Пыха будто феверки. Оделась в мериканском скусе и пошла, как колокольчик...

Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки.

Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.

Фатьян разговаривал, гордо поворачоясь к покупателям спиной:

— На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени.

Тренька по-аглички ругался с Пыховыми препозитами¹:

— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись! Пленти мони вери гут² до добра не доведут.

Фатьян становил его:

— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что ба-рышом поделится.

— А ты спросил бы, дядюшка.

— Совестно.

Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по брёвнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках³ и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «канплектов» продал Пых... Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища — версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в край моря:

— Теменца заводится...

¹ Препозиты — здесь: помощники, приближённые.

² Пленти мони вери гут — искажённые английские слова.

³ Штофник — сарафан из плотной шёлковой ткани.

Заёжилась древняя бабка:

— Не быть ли дождю,— вся дрожу.

Погодя, старики опять проговорили:

— Гром гремит, путь воде готовит...

Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:

— Идут! Идут!

Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармониями. Старики на брёвнах запели:

Слетались птицы,
Галки и синицы,
Стадами, стадами.
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.

Одновременно весь берег будто цветами расцвёл. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разнопёстрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что тут величання, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают:

— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!

— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнёт палить из пушек.

Тут парни зараз в гармонии жахнули. Двести девок, сотня баб лесню завели; высоко занесли да в пляс пошли. Только и слышать, что «ух-ух, ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье...

И в те поры дождинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошёл как из ведра, а — бочками, ушатами заливало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.

Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-та плывёт, и ветошь-та ползёт. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновение вся краса стерялась. Как не бывало

туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи всё лохмотье мокрое с себя сбросали в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.

Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:

— Ха-ха-ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!

Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:

— Косматки вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.

Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятававшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:

— Бабы, девки! Нельзя такого бесчестья простить! Головы не оторвём, дак хоть плюх надаём этому Пыху.

Ещё до света учредились они как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:

— Маврух в поход собрался... Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли де бабы меня трепать придут!»

— Пушай он хоть в утробу матерню спрятался, и там добудем!— вопияли жёнки.

Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываячи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещёлкули. А комары их едят.

Одна была отрада: знали, что погрузка тёсу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на пароход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.

Фатьян в своём балагане тоже ни жив ни мёртв сидит.

— Вот так мистер заграничный! Присчитается и мне на орехи. И я с ним в паю буду... Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.

— У тебя откуда барыши-то?— спросил Тренька.

— Да ведь половину барыша мне Пых-от посулил!..

— Ох, дядюшка Фатьян! Нет у тебя ума-то с напёрсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.

— За мою добродетель?!

— За твою дурость, не во гнев будь сказано.

— После дела всяк умён. Уйди с глаз!— рявкнул мастер. Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела...» Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки:

— Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти.

— У меня не кабак...

— Табак не надо... А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.

Так и сидел Фатьян до свету:

— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде...

На рассвете завёл глаза, задремал. И тут же со страхом прынул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:

— В воду посадить еретиков!

Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:

— Дедко, вчерашний Пых где?

— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чём не виноват.

— Ты смотри, никуда не уезжай. Тех поймаем, до тебя есть дело.

Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой:

— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи?! Помрём. Деточки, смерточка напрасная приходит.

Поняв, в чём дело, Сенька бородатый заревел:

— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?

Тренька заорал на обоих:

— Мужики вы или нет? Бежать надо!

— А товар как?— опомнился Фатьян.

— Ведь ты помирать срядился.

— Пережить не уповаю. А своего художества непонимающим людям оставить не желаю,— торжественно сказал Фатьян.

Тренька уважительно поглядел на мастера.

— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмём с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ко сунутся которые... А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков?

Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги.

Время тянулось. Никто убивать не шёл. Фатьян успокоился; насупив брови, сел.

— Охо-хо!.. Ждать да догонять — нет того хуже...

Со стороны берега донеслись два пароходных свистка и вслед за тем крики, брань... Фатьян опять схватился за топор.

Прошёл час. Фатьян простонал:

— Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!

Тренька ушёл, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:

— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу всё, сам пойду.

Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.

— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?

Докладывать начал красноречивый Тренька:

— Ух, дядюшка Фатьян!.. Жёнки по штабелям ле-

тают, в брёвнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат:

«На секурс! На секурс!»¹

Бабы со штабелей ссыпались — да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:

«Вы что скажете, мистер каптейн?»

Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:

«Я совершенно ни при чём. Но мистер Пых просил дать объяснений на его товар. Это есть обычная материй аплике, накладной бумажный кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик туалет гулялся бы на год».

Управляющий к народу:

«Вот что, жёночки и девицы: вы в памяти, в сознание эти юбки-кофты покупали. Небожь у своих ситец выбираете, жуёте да лижете: не марко ли, не линюче ли?.. Цену-то какую иноземец брал?»

«Три рубля за канплект».

«Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперёд пригодится... Угодно ли ещё про Пыха обсуждать и сыскивать?»

«Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нём трясётся. Чёрт с ним!»

Тут бабы и капитану словцо ввернули:

«Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя».

— Уплыл Пых-то?— спросил Фатьян.

¹ На секурс!— На помощь! (франц.).

— Угрёб.

— Меня-то не помянули?

— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-от отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ насмешили. Почто было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь»... Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:

— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не довели.

Фатьян приосанился, прищурил глаз:

— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны, против модного базара не задорны...

Бабы застыдились:

— Карасином бы этот базар облить было да спалить!..

— То-то,— наставительно сказал Фатьян.— За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству своё приложили. Краски натуральные: от матушки сырой земли, и от коры берёзовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Тренька досточку-печатку режет, как батальный живописец. Я в свою набойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодёжи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасибо, другого слова не слышал. Я не хваюсь. Моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведение вековое-цеховое...

Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся.

— И как вчера такой красы не разглядели? Глаза отвёл заморский пёс.

Старухи брали по целой «трубе» столокотной¹, по целому куску.

Важно говорили:

— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.

Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:

— Мастер, как по-вашему, это винограды нам к лицу?

Пришли мужики. Потребовали матерьял порточный, с продольным «форнаментом». И на рубахи орнамент «попристальней».

Иноземцы торговали полтора дня, Фатьян в полдня продал всё до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.

По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вокруг палатки, балаболили, хвастались покупками.

Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:

— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на другую сторону переверотить да опять носить!

Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:

— Чувствительно вас благодарю за неоставление. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили.

И Фатьян поклонился народу в землю. Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:

— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер...

Обратно Фатьян правился на шкуне. Парусом бежали шибче парохода.

Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках.

¹ Труба столокотная — рулон полотна длиною в 100 локтей. Локоть — старинная русская мера длины, равная примерно 50 см.

Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».

И объясняют:

— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.

ЛЕБЯЖЬЯ РЕКА



Есть у Студёного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнёзда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом — деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Всё зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги, злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:

— Не в ту сторону воюете, друзья!

— Против кого же воевать?

— Против тех, кому рознь ваша на руку.

— Золотое твоё слово,— отвечали Губа и Щека.— Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.

Но разумного человека угонили дальше, к Мёрзлому морю. Оставленные царской властью без призора самобытные деревенские художники зачастую бросали своё художество.

Но пришла пора, ударил и час: царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуше всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину.

Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далёкой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастились:

— Настоящий председатель. Худых людей словом одёргивает, добрых людей словом поддерживает.

Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.

Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.

В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:

— Всякий художный запас, краски, и масло, и клей мы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая

статья: как художество строить? Без Губы да без Щеки мы письмо переверём и пошиб-манеру запутаем. Живём соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пёстро. Цвет пушали сильный. Мужиков писали головастенких, а жёночек коротеньких. Нам своё лицо терять ненадобно. У всякой ягоды свой скус.

Старуха Губина докладывала:

— Письма от мужа были, адрес не пишется, для того что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознаться местоположение хоть бы нашего Губы? Узнать бы да стребовать письмом.

Гуля рассмеялся:

— К сожалению, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.

Порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать не мешкая для того, что время горячее.

На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи пооскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучить молодёжь столярству и резьбе.

И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столец чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу.

— Вот, Михайлушко,— толковал Федот талантливому пареньку,— вот тебе художественные снасти, пила да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домик-теремок. К ней постройщики приедут. Пойдёт житьё-бытьё.

Муха — Горюха,
Блоха — Посакауха,
Комар — Пискун,
Таракан — Шаркун.

Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертёж, на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши-недоросточки. Мать ино-му репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.

Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:

— Такой уж иной человек рождается: чертить, да красить, да что-нибудь мастерить вроде как пить-есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдёт. А художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну, и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, столько себя веселю.

Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту:

— У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печь, карауль...

Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох¹ провалился.

На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:

— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекои промышляют?

— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь

¹ Канская земля — полуостров Канин, в прежнее время место безлюдное. «В канский мох провалиться» — затеряться, пропасть.

век в два венику метут. Всё чего-то делают. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженёк Ивана Щекина работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотенце увёрнуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнёт и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню...» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждёт, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостойн ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нём...»

Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.

На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.

С вешней водой Лебязья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за вёсла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества. Гуля Большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.

Губа всё это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.

— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.

Жена уговаривала:

— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.

— Вот уж, Ананья да Маланья, Фома да кума да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.

— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: «Ждём, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня».

— Ежели я майский день, дак меня встретить да почтить должно.

— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.

— Тебе, дура, смех, а мне смерть... Они и Ваньку Щекина нарочно держат без вестей.

— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.

— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пушай моё письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжёлый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбёшкой.

Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру.

— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести... Теперь уж всё пропало. Он теперь и всенародного моления не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.

Молодёжь дивилась:

— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?

— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.

Пуше всех Губа обиделся на Гулю Большакова:

— В городе красуется, павлиёны к выставке гордит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.

Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:

— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.

Вышла Гулю проводить и зашептала:

— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель: «Узнай обиняком, что такое новая тематика. Из артели парни шли и про каку-то «нову тематику» песню квакали».

Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подаёт коробочку:

— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.

Старик впился глазами в рисунок: звезда, красно-флотец, корабли с гербами.

— Ты это сделал?

— Я,— отвечал Гуля.

— Коробка-то лучше тебя!

Гуля рассказал артельным. Те смеялись:

— Иван Егорович уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет, Губа и на народ с веслом, с какой ни есть со снастью налетит... Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить — ни который не перетянет.

Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днём и ночью, благо летние ночи на Севере светлы, как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом.

Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных перьев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов,— готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберёт в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмёт, из неё кистью краску берёт и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море.

По морю золочёные кораблики. Сверху как бы розовый венчик из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным варёным маслом. Мастер хвалился:

— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!

Жена, любуясь, говорила:

— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привёз и нутро маринино.

Мастер усмехнулся:

— Кобальт и ультрамарин... Краски добрые, а стратит без толку. Котору краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно... Я в обморок упал.

Старуха переводила разговор на приятное:

— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады цветут на блюде.

— То-то! — соглашался Губа.— А разумеешь ли ты силу и смысл письма?

— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамёна трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?

— Это Слава с трубой,— улыбался старик.— Изображено «Пришествие Красного Флота на Север...» Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.

Губа решил похвастаться перед артельными, особенно перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:

— Медали поехал лудить для своей канпании. Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Эрмитаж на божницу при освещении электричества. А позабытый художник Ванька Губин пушай поёт на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».

— Уж и мастер ты, Егорович, слёзы выжимать,— всхлипывает старуха.— Вылизарий-то кто?

— Оскорблённая невинность,— хмуро отвечал Губа. Вскоре ему надоело жалобить самого себя:

— Председателя нет, щегольну перед артельными.

Разбирало любопытство — что-то наготовили для выставки.

Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.

— Куда, Иван? — удивилась жена.— Артель-то вся небось на пристани. Пароход пришёл.

— Мели, Емеля... Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу... А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.

Чтобы люди не подумали чего, Иван прошёл по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой.

— Ишь какое министерство! Запершись работают. «Без доклада не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незванный посетитель, а принимать извольте!

Из соседнего дома выглянула бабка:

— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежали, дрова грузить... Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмёшь, антиресность каку-нибудь сработал?

Из дома напротив вылезла другая бабка:

— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки даёт. Дай я пособлю, колом в простенок приударю...

Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку:

— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружьё, старуха. На озеро пойду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою своё сердце. Раньше воскресенья не вернусь.

Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брёл домой безрадостно.

— Ничего, товарищи артельные... Я вам улыю щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать...

Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:

— Губа идёт! Егорович идёт!..

Кто-то крикнул:

— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!

— Какое такое собрание?

— Гуля Большаков из города доклад привёз насчёт артели. И наши и гусиновские тут.

«Ладно,— подумал Губа.— Осчастливорю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и впредь на три года...»

В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него всё потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел, как колокольчик:

— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.

Иван буркнул:

— Некому меня там знать.

Гуля продолжал:

— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, отдельную витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели,— то в качестве её члена, среди её экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.

Гуля спрыгнул с кафедры, подошёл к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:

— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.

Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился, и... слёзы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слёз не видя Гулю Большакова, старик нашарил его руками и обнял:

— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это вы, молодые, великодушные, всемирное наше украшение!

Повернув в сторону артельных мокрое от слёз лицо, Иван гаркнул:

— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!

Не гуси-лебеди крыльями захлопали — артельные ладоши загремели, закричали:

— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович,— решено и подписано!

На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.

На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовать-расписать шкатулку-сундучок в

здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.

— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю,— скажет деревенская хозяйка,— а цветочки как сегодня расцвели. Щекина Ивана рукоделье!

Ещё зимой Щека оповестил Федота:

— В навигацию, в корабельный приход буду дома!

Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящиков: края-каёмочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:

— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.

Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:

— Пригодится нашему художнику.

Федот задумчиво покачивал головой:

— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?.. Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.

Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.

Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака. О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое суток, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.

Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:

— Здрасьте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?

— Федот посёк ногу топором.

— Умысел и хитрость... Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?.. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы приклонить, коцует по морскому берегу, подобно диким племенам.

Вася старался смягчить старика:

— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам наприпасали — на барже не утянуть.

Щека уставился на Васю ярым оком:

— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится по старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин личность неизбежная.

— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.

— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пушай опростаёт моё домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.

Унылой показалась Васе обратная дорога.

«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребёнка. В деревне будут пересуживать: «Знать, мошну толсту набил, то и куражится». Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».

На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.

Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.

Вася приехал, начал добрым порядком:

— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?

— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека. — Власти из города наедут: «Где обитель оскорблённого Ивана Щекина?» — «Под крыльцом, — отзовусь я, — вместо Шарика и Жучки лаю на разные басы».



«Дождь»



«Пойга и лиса»

Вася не утерпел, рассмеялся.

— Ты смеяться? — загремел старик. — Ты посольство править послан или зубы скалить?!

Рассердился и Вася:

— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.

— Я хозяина-миroeда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ; ещё недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!

Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок: вдруг да обойдётся стариновское сердце».

В деревне Вася сказал:

— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.

Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.

Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.

В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок? Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними попевал Федот.

Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал берёзовую палку. Одинокaя фигура старика казалась мрачной.

«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.

Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив берёзовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам се-

бя горячил, стучал палкой в палубу: «Ладно, приятели... Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо...»

Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится:

«Кого же это народ встречает?.. Федот в красной шёлковой рубахе... Девушка с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда... Не начальник ли какой в каюте едет?.. Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»

Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

Палка выпала из рук Ивана, гремя, покатилась по палубе... Девочка суёт Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:

— «Мы, ученики Гусиновской артели, приветствуем нашего художника...»

Иван сгрёб в охапку зараз пятерых ребятешек и спрятал лицо в их головёнках, чтобы не видно было его слёз. Потом крепко обнялись с Федотом.

Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал:

— Васенька, пройдёмте-ка в каюту. Сундучок пособишь снять.

В пустой каюте Иван спросил:

— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?

— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.

Старик поклонился Васе в ноги.

— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!

Щека ходил по своему дому:

— Занавесочки, цветы, чистота... Пол-то платком носовым продёри, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?

— Тут твоё именьё,— объяснил Федот.— Сундук,

постель, посуда. Как уехал, так всё лето и лежит нетронуто.

Иван зашумел:

— Эх вы, распорядители! Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести моё барахлишко наверх: я в светёлке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую.

Вася, лукаво прищурив глаз, шепнул Ивану:

— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.

Иван засмеялся:

— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метён.

До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.

Щека не попал и на собрание, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:

— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнёт. Ты, Вася, и ты, Федот, махнём-ка завтра на Лебяжью.

В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:

— Небывалый гость идёт! Раскатись, моя поленица без дров!

Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.

— Ванька,— сказал Губа,— сколько годов мы друг по другу тужили?!

— Ванька,— отвечает Щека,— пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.

...Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучных мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и Лебяжья. Иван Щека говорил:

— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.

Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули... Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.

Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устройении Земли, о войне и тишине рассказать.

Иван Губа говорил:

— Краше тёплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать, и от Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гурию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася... стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.

Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение... Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И... почувствовал себя учеником.

ВОЛОДЬКА ДОБРЫНИН



Архангельского города, у корабельного прибегища жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господский, да обиход в нём после мужа повёлся сиротский, Добрыниха держала у Рыбной пристани ларёк. Торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми штями. Тем свою голову кормила и сына Володьку сряжала.

Володька ещё при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигацкую школу. Знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, он связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины.

Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, остальные пособляли.

И случилось, что один товарищ поспорил с ними и донёс властям. А полиция давно на Добрынина зубы скалила, ногти грызла.

Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной — тревога. Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька вывернул аншпугом¹ половицу:

— Спасайтесь, ребята!.. Лезь в тайник! А я останусь. Всё одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит...

Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиция в двери:

— Один ты у станка?

— А что, вам сотню надо?

¹ Аншпуг — шест, рычаг, поворот.

Повели Володеньку под конвоем.

Дитятко за ручку, матку за сердечко.

Плачет, как река течёт. А сын говорит:

— Не плачь, маменька! За правое дело смело стою.

Конвойный рассмеялся:

— Какое же твоё правое дело, мышь подпольная?

Володька ему:

— Ничего, дождёмся поры, дак и мы из норы.

Его отдали в арестантские роты, где сидели матросы.

Близ роты на острове жил комендант. Дочь его Марина часто ходила в роты, носила милостыню. И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила, послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором.

Бывало, за ужином отцу всё вызвонит, что за день видела да слышала, а про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до семнадцати годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше и запечалилась. От няньки секретов не держала — старуха не веле-ла больше в роты ходить, молодцов смотреть.

Отец Маринин, как на грех, в это время дочери учителя подыскивал. Люди ему и насоветовали Володьку:

— Не опускайте такого случая. Против Добрынина мало в Архангельском городе учёных. Молодец учтивой и деликатной. Суд когда-то соберётся. До тех пор ваша дочь пользу возьмёт.

Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к коменданту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал её дитятею.

Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеяны и печальны. Люто и ненавистно Володьке возвращенье в роты. Уж очень быстролётны часы свободы. О полной воле затосковал. Бывало, придёт, рассмеётся, а теперь — как мать умерла у маленького мальчика.

Нянька спросит по Маринину наученью:

— Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что-то от нас прячешь, Володенька.

— Ох, нянюшка, думу в кандалы не забудёшь!

Лету конец заприходил. Скоро суд и конец Марининому ученью.

Смотрит бедный учитель в окно. Не слышит, что читает девочка. За окном острова, беспредельная ширь устья Двинского, а там море и воля.

Нянька говорит:

— С вашей читки голову разломит. Вышли бы вы, молодежь, на угор.

Володька говорит:

— Меня вдаль караульны не пустят.

— С лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода.

Пришли на взглавье острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит.

Нянька толкует:

— Сядем этта. Солнце уже на обеднике, а вокурат в полдень от города фрегат немецкой в море пойдёт. Матросы сказывали. Подождём, насмотримся. Вишь ветер какую волну разводит... Володя, почто побледнел?

А у Володьки мысли вихрем: «Либо теперь, либо никогда. Спросить Марину?.. Нет, бросится за мной. Моя дорога неведома. И жив останусь, дак всяко наскитаюсь. Жалко её. Поскучает да и забудет».

А вслух говорит:

— Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу — сходите на болото по ягодки на полчасика. А я выкупаюсь.

Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку.

Володька ещё крикнул:

— Потопу, матерь мою не оставьте!

Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то

ему вслед, но пловец уже не слышал. Вопль старухи заглушали голоса вод.

Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слёз, вернулись домой. Видя, что Добрыни-на долго нет, встревоженная и обеспокоенная девушка заставила добыть лодку, и сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что её любезный учитель, такой сильный и отважный, утонул. Нянька натакала до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести куда следует, и тогда спасённый пожалел бы, что его спасли.

Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купанья. Свидетелем ставил сам. На том дело и покончили.

Только мать, как узнала, столько пролила слёз, дак ручей столько не тёк. Тут уж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила, сколько было в сердце нежности к сыну, всю на мать его перенесла.

Володька не погиб.

Есть счастливицы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах. И берут людей без разбора. Почто не испытать судьбу?

Чтоб избежать горького расставанья с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил, так выйти на любой попутный остров, дожидаться и объявить о себе криком.

И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волнами, Владимирко выбрался на песчаную отмель. И пока он дрожал тут нагой,— зубов не мог сцепить,— мимо начал проходить величественный четырёхмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки и побежал по берегу.

Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почувяв себя на воле, убедившись, что его

отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать властям, Володька ожил, развеселился. Свободно владея немецким языком, полюбился всем — от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот какой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким, и пригожеством лица, и речами, и очами.

Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасённым и однажды сказал:

— Завтра будем дома. Я убедился, господин Вольдемар, что вы человек талантливый и одарённый. Если угодно, представлю вас своему другу бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чём лишнем.

Добрынину остаётся только кланяться.

В Гамбурге капитан отвёл свою находку к верховному бургомистру, старому старику.

В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом. Оттого назывался вольный город. Председателем был бургомистр. Стар был бургомистр, много видели на своём веку почтенные советники гамбургские, а и они не могли достаточно надивиться разуму и познаниям молодого пришельца.

Кроме родного, Володька знал язык немецкий, английский, норвежский, шведский, и его положили доверенным к приёму иноземных послов.

Так четыре года прошло. Четыре холодных зимы, четыре летичка тёплых прокатилось. Володька доверие Гамбургского совета полной мерой оправдал. Он кому и делом не приробится, дак лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег, как сон вспоминается. Здесь всё иное и дума другая.

Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку.

Скоро сказывается, а дело долго делается.

Тут приходят на вольный город две напасти. Умер старый многоопытный бургомистр, а прусский король

задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядам срок вышел и больше в Гамбурге воле не быть, а быть порядкам прусским. Сроку даётся месяц.

День и ночь заседает Гамбургский совет. Силой противустать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Сделали перебор трём главным советникам.

Один сказал:

— Берусь вырядить вольности на полгода.

Другой сказал:

— Моего ума хватит добыть воли на год.

Третий, годами старший, сказал:

— А и моей хитростью-мудростью больше как на три года вольности не вырвать...

Володька был тоже созван в ту ночь к городской думе.

И тут его сердце петухом запело.

Встал и сказал:

— А я доспею воли городу до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит...

Выбирать не приходится.

Его и послали рядиться с пруссаками.

С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоды сулил. Говорит — как рублём дарит. Красное солнце на запад идёт, у Володьки договорное дело, как гусли, гудёт. Складно да ладно. Пруссак против его доводов и слова не доискались:

— Вы, гамбурцы, люди речисты, вам все дороги чисты.

Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слова пошевелить. Писано, что Добрынину надо:

«Быть Гамбургу вольным городом донележе солнце сияет и мир стоит. А королю не вступаться и прусским порядкам не быть».

Только и вырядили послы ежегодно два корабля солёной рыбы королевскому двору.

Ну, рыбы не жалко. Рыбы море-кормилец несчётно родит.

В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза¹ была вделана памятная плита. И на ней золотыми литерами² выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина³. А сам он возведён в степень верховного бургомистра. По заслугам молодца и жалуют.

И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведёт. Но на седьмой год Володя, как от мёртвого сна пробудясь, вдруг затосковал по родине, по матери, по Марине.

Мамушка, жива ли ты?
Может, где скитаешься!
Марина, помнишь ли меня?
Простили ли вы меня?

И слёзы его как жемчужные зёрна. Стал молодой бургомистр в простецком платье по корабельным прибежищам похаживать, с архангельскими поморами поговаривать. Оказалось, они уже слыхали, что здесь в больших русский человек. Вдаль простираться с расспросами Володька не стал, а пришёл на совет и заявил:

— Прошу отрядить под меня приправный корабль. Прошу месяц отпуска. Поеду в Русь добывать свою мать.

Советники понурили головы:

— Любезнейший наш бургомистр. Время осеннее, годы трудные... В море туманы, в русской земле обманы. Боимся за вас, не покидайте нас.

Он на ответ:

— Никто нигде не посмеет задеть верховного бургомистра славного Гамбурга... А не отпустите — умру!

¹ Ратхауз — ратуша; здание управы, совета.

² Литеры — буквы.

³ Архангельские поморы уверяют, что доска эта на том же месте и сейчас. (Примечание Б. Шергина).

В три дня готова шкуна трёхмачтовая, команда отборная и охранная грамота.

Парус открыли, ветер паруса надунул. В три дня добежали до Двинской губы. Теперь наш Володенька и с палубы не сходит, не спит и не ест. Так и смотрит, так и ждёт.

У Архангельского города якоря к ночи выметали. В корабельной конторе отметились, и захотелось нашему бургомистру той же ночи к родному дому подобраться, тайно высмотреть своих. Переоделся в штатское платье и направился окраинными улицами в обход, чтоб на кого не навернуться.

И тут его схватили грабители, отняли верхнюю одежду и хотели убить. Темна ночь, черны дела людские...

Володька закричал:

— Что вы, одичали, на своих бросаетесь! Я сам мазурик, на дело бежал...

Тут одни рычат:

— Убить без разговоров!

— Кряду ножом порешить.

— Убежит, на нас докажет.

Другие возражают:

— Утром зарежем. А то с кровью проканителемся, ночная работа пропадёт. Петухи уж вторые поют.

Володька надежды не теряет:

— Возьмите вы меня на ночную-то работу. На это против меня не найдёте мастера!

— Ну, идём... Только уж смотри, закричишь или побежишь — тут тебе и нож в глотку.

Долго шли по продольной улице, свернули на поперечную, остановились у высокого дома. И сквозь мглу ночную узнаёт пленник — улица их Добрынинская и дом их. Главный шепчет:

— Здесь старуха живёт, Добрыниха. Налево пристройка, окно с худой ставней. Тут у них кладовая клеть. Медна посуда есть, одежонка... Пусть один в оконницу пропехается, будет добро подавать, мы принимать.

У Володьки сердце то остановится, то забьётся:

— Я горазд в окна попадать. Меня подсадите.

— Тебя одного не пустим. Лезьте двое.

К чужим бы не суметь, а свои косяки пропустили. И ставня под хозяйской рукой не стукнула. Следом за Володькой протискался ещё один.

В опасности голова работает круто. Закричать?.. Стены глухие, кто услышит ли?

Стучать? Нет ли чего тяжёлого...

Наткнулся на весы. Нащупал гирю. А страшный компаньон к нему:

— Мы что, гадюка, играть сюда пришли?! Ломай замок у сундука!

Вместо ответа Добрынин левой рукой схватил его за горло и подмял под себя, а гирей в правой руке и ногой приправил, что было сил, грохотать в стену, в двери, во что попало, неистово крича:

— Карау-ул! Спаси-и-те!

В доме поднялась тревога. Забегали люди, замигали огни. Мазурик вырвался из рук Добрынина, ударил его ножом да мимо, только сукно рассёк, затем кинулся в окно и выбросился наружу.

Скоро далёкий топот ног известил, что мазурики скрылись. С чем нагрянули, с тем и отпрянули.

Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросились вязать мнимого вора. Он закричал:

— Не троньте меня, не смейте. Ведите сюда хозяйку Добрыниху.

А хозяйка Добрыниха бежала по сеням с фонарём.

И тут у неё ноги подрезало, и она закричала с рыданьем:

— Не смейте!.. Это сын, сын Володя, воротился!

Пала мать сыну на грудь:

Беленькой ты да голубчик!
Миленькой мой да соколик!
Желанненько моё чадышко!

Из глаз-то ты уехал,
Из памяти ты да не вышел!
Как я тебя жалела,
Да как я тебя дожидала!

Тут не бела берёза подломилась, не кудрява зелена
поклонилась, повалился сын матери в ноги.

— Дитятко, не мне кланяйся. Благодарю Марину
Ивановну — только по её милости я эту прискорбную
пору пережила. Она меня вместо матери почитала.

— Маменька, где она?!

— Тут она! За калачами пришла да и ночевать ос-
талась... Точно знала...

И Марина, станом высокая, а нежным лицом всё та
же, держит Добрынина за руки, не даёт ему падать в
ноги. И говорит, говорит, торопится:

— Володенька, как тогда жить-то начинать без вас
горько было. Отец женился, няня померла, я у мамень-
ки у вашей больше гощу. А вас первое время и в живых
не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблём
подобрали. На остатках узнали — в Гамбурге морского
найдёныша главным начальником положили. На вас
думать боялись, а надежды не теряли.

И Володька на ответ:

— Тошнёхонько! Бил вас денёчек, сам плакал годо-
чек! Марина Ивановна, мама! Перемените печаль на ра-
дость, слёзы на смех. Я и есть главный бургомистр го-
рода Гамбурга. И я за вами на корабле пришёл.

Погостил тут Володя, сколько привелось, а потом сел
с матерью да с невестой на корабль и с вечерней водой,
под красой под великой отправились в путь, чтобы жить
вместе и умереть вместе.



СКАЗКИ

ДИВНЫЙ ГУДОЧЕК



отца, у матери был сынок Романушко и дочка, девка Восьмуха. Романушко — желанное дитяtko, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки заgreбушие, глаза завидушие.

Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи, рoдятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать.

Матка им говорит однажды:

— Тятенька из-за моря поясок привёз атласный лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесёт, тому и пояс.

Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателко всё в коробок да в коробок, а сеструха всё в рот да в рот.

В полдни стало жарко, солнечно.

У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в корoбу катаются и те мелкие и зеленые.

Она и сдумала думку и говорит:

— Братец, солнце уже на обеднике! Ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учёсывать.

Романушко привалился сестре в колени. И только у него глазки сошлись, она нанесла нож да и ткнула ему в белое горлышко... И не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает: положила брателка в бо-лотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила:

— Без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс!

— Романушко где-ка?

— Заблудился. Его лесной царь увёл.

Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили... Романушко не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина.

Ходят по Руси весёлые люди — скоморохи, народ утешают песнями да гуслими. Поводырь у скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило рябинку, высек тесинку, сделал гудок¹ с погудалом². Не успел погудальце на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально:

Скоморохи, потихоньку,
Весёлые, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Продрожье взяло скоморохов:

— Эко диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает!

А Вавило-скоморох говорит:

— В этом гудке велика сила и угодье.

Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились:

— Пусти, хозяин, весёлых людей — скоморохов!

— Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын потерялся!

Вавило говорит:

— На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива.

Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок:

Тятенька, потихоньку,
Миленкий, полегоньку!

¹ Гудок — древнерусский струнный музыкальный инструмент.

² Погудало, погудальце — смычок для игры на гудке.

Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Мать-то услышала! Подкосились у нея с колен резвы
ноженьки, подломилися с локот белы рученьки, перепало
в груди ретиво сердце:

— Дайте мне! Дайте скорее!..

Не поспела мать погудальце на гудок наложить, запел гудок, завывоваривал:

Маменька, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки, за красны,
За поясок за атласный!

Пала мать на пол, клубышком закаталась... И почто
с печали смерть не придёт, с кручины душу не вынет!

Сошлась родня и вся порода, собрались порядовые
соседи. Ставят перед народом девку Восьмуху и дают
ей гудок!

— На-ко, ты играй!

Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела погудальце
на гудок наложить, и гудок поёт грозно и жалобно:

Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Ты меня убила,
В белые мхи схоронила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило подхватил да стегнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела окномцем.

Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной...

Мать видит Романушку, бьёт ладонями своё лицо белое.

А Вавило говорит:

— Не плачьте! Ноне время веселью и час красоте!

Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переладец¹, и народ запел:

Грозная туча, накатися,
Светлы дожди, упадите!
Романушко, убудися,
На белый свет воротися!

И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром. Над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождём на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мёртвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, весёлым людям-скоморохам на славу.

ПОЙГА И ЛИСА



Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьём у вершины реки. Наехала на него шведка Кулимана, дом и оленей схватила. Пойга и пошёл вниз по реке. У Лисьей горы изготовил ловушку и пошёл умыться. Видит — на воде карбас, в нём спят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя, сияющая.

Пойга испугался красоты этой девицы:

— Ты не звезда ли утренница?

Она засмеялась:

¹ Переладец — набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку.

— Если я звезда, ты, должно быть, месяц молодой. По сказкам, он гоняется за утренней звездой.

— Чья же ты?

— Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу.

Пойга взмолился к ней:

— Девница, подожди здесь! Я тебе гостинец принесу, лисичку.

Он к ловушкам поспешил к своим — туда залезли Лисьи дети. Он обрадовался: «Не худой будет подарок для девицы».

И тут прибежала Лисья мать. Стала бить челом и плакаться:

— Пойга, милый, отдай мне моих детей!

Он говорит:

— На что много плачешь, Лиса? Мне твоё горе внятно. Меня самого шведская Кулимана обидела. Возьми детей.

Пока Лиса да Пойга разговаривали, старух на карбасе заели комары. Устьянкина дочь и уплыла домой...

Пойга опять идёт вниз по реке.

На новый месяц догоняет его Лисья мать. Пойга удивился:

— Ты на кого детей-то бросила?

Лисица говорит:

— Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твоё добро тебе добро доспею.

Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатёр из белого моху. Лисица говорит:

— Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки?

— У меня серебряных копеек пять.

Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит:

— Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку — четверик: хочет жито мерить.

— Возьми.

Лисица принесла мерку в шатёр, запихала в заклёп две серебряные денежки и несёт мерку обратно:

— Государыня Устьянка, дай меру побольше — четвериком мерить долго.

Вдова дала Лисе полмеру и говорит дочери:

— Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое «жито» меряют, хитряги!

Лиса опять там в полмеру за обруч вlepила три серебряных копейцы и несёт обратно. Устьянка опять приметилa серебро, однако виду не подала, спрашивает:

— Для какого случая зерно-то меряли?

— Жениться собирается.

— Пожиточному человеку что собираться? Посватался, и всё.

— Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать.

Вдова говорит:

— Надобно жениха-то в лицо поглядеть.

Ведёт Лисица Пойгу на смотрины и думает: «Не гораздо ты, жених, одет. В чём зверя промышляем, в том и свататься идём». А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото.

На сухое место выбрался, заплакал:

— Испугается теперь меня невеста. Скажет, чёрт из болота вылез...

А Лиса над ним в покаточку хохочет:

— Сохни тут, тетеря косолапая! Я хорошую одежду принесу.

Лисица к Устьянке прилетела:

— Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе! К вам на смотрины торопился, и на болоте подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошёл.

Вдова зашумела на Лису:

— Как это назад пошёл?! Глупая ты сватья. Возьми вот мужа моего одежду. Пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам.

Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула ему украдкой в сенях:

— Ты виду не показывай, что мы встречались.

Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя: глянется ему кафтан василькового сукна, с серебряными пуговками.

Вдова и шепчет Лисе:

— Что это жених-то только на себя и смотрит?

Лисица отвечает:

— Он в соболях, в кунцах ведь привык ходить. Ему неловко в смирном-то кафтанчике.

Вдова и говорит Пойге:

— Ну, добрый молодец, сидишь ты — как свеча горish. Не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора. Ты и мне и дочке по уму, по сердцу. Однако, по обычаю, надо съездить посмотреть твой дом, твоё житьё-бытьё.

Пойга смутился: как быть? Ведь дом-то шведка схватила.

А Лиса ему глазком мигает, чтобы помалкивал, и говорит:

— Обряжай, Устьянка, карбас. Возьми в товарищи уверенных людей, и поплывём смотреть житьё женихово. Не забудь взять в карбас корабельный рог.

Вот плывёт дружина в карбасе: Устьянка с дочкой, Пойга да Лиса, да пять уверенных старух. Подвигались мешкотно¹: по реке пороги каменные; однако до вершины добрались.

На заре на утренней Лисица говорит:

— Теперь до нашего житья рукой подать. Я побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы, как только солнышко взойдёт, что есть силы в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно.

Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана ещё спит-храпит. По стенам висит

¹ Мешкотно — с трудом, медленно.

и по углам лежит Пойгино добро: шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленьи. В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по речке будто гром сгремел — затрубили в рог. Кулимана с постели ссыпалась, ничего понять не может.

А Лисица верещит:

— Дождалась беды, кикимора? Это Русь трубит!

Кулимана по избе бегают, из угла в угол суётся, лишиц, куньих под печку прячет:

— Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?

Лиса говорит:

— Твои слуги-кнехты где?

Кулимана вопит:

— Кнехты мне не оборона! У стада были, у оленей, а теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад. Так летят, что пуля не догонит.

Лиса говорит:

— Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при дороге бочку видела. Лезь в эту бочку.

Кулимана толста была, еле запихалась в бочку.

Лисица сверху крышку вбила:

— Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана. Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сторонку откатить.

А Пойга с гостями уж по берегу идёт и невесту свою за руку ведёт. Лисица к нему бежит:

— Гостей ведёшь почтенных, а на дороге бочка брошена. Ну-ка, гостьюшки-голубушки, спихнём эту бочку в воду, чтоб не разохлась.

Пять уверенных старух мигом подкатали бочку к берегу и бухнули с обрыва. Кулимана ко дну пошла. Больше никого пугать не будет.

Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит:

— Дом у тебя как город! И стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяйшкa и тебе помощница.

Вот сколько добра доспела Пойге Лисья мать за то, что он её детей помиловал.

УМНАЯ ДУНЯ



Были Саня и Дуня, брат и сестра. Саня в городе работал, Дуня дома хозяйничала, в деревне.

Вот она от брата записку получила: «Завтра приеду домой на побывку».

Дунюшка обрадовалась: «Чем буду братца угощать?.. Ах, братец котлеты любит!»

Котлету большую замесила, с тарелку, поставила жарить. «Ох, забыла: братец уксус любит!»

В подпол спустилась, стала из бочки уксус цедить. «Ох, котлета сгорит!»

В избу полетела, котлету на окно поставила студить. «Ох, забыла кран завернуть, уксус убежит!»

А уж уксус убежал: во весь пол лужа. «Ах, меня братец забранит: сырость развела!»

В углу мешок муки стоял. Дунюшка мешок в охапку взяла, давай эту лужу мукой посыпать. По полу ходит, грязь месит. «Вот, теперь сухо, хорошо... Ох, кошка котлету съест!»

Бежит в избу, а уж кот давно котлету съел. Нет ни муки, ни уксуса, ни котлеты.

А брат приехал весёлый, не стал браниться:

— Дуня, я поеду на завод насчёт железа, крышу крыть. А деньги вот, в сундук кладу.

Дуня говорит:

— Деньги бывают золотые и серебряные, а тут бумажки пёстрые.

— Ладно, не толкуй.

Брат ушёл. Дуня села у окна покрасоваться. Мимо горшечник едет.

— Эй, красавица, горшков не надо ли?

— Надо, только денег настоящих нет, а всё бумажки пёстрые.

— Покажи!

Она деньги из сундука вынула, показывает. Деньги как деньги: рублёвки, трёшницы, пятишницы. Горшечник видит — девка глупая.

— Ладно, деньги мои, посуда твоя.

Дунюшка посуду в избу носит, всю избу заставила. На окнах кринки, на лавках кринки, на столах, на полках...

Брат приходит, глаза вытарашил:

— Дуня, это что?

— Посуда.

— Где взяла?

— Купила.

— Где деньги взяла?

— Я не деньги, а твои бумажки пёстрые отдала.

— Авдотья, ты меня разорила! Опять надо в город на заработки идти. И ты со мной пойдёшь. Собирайся.

Саня и видит: Дуня дверь с петель снимает, тяжёлую, дубовую.

— Куда ты с дверью-то?

— А может, в чистом поле будем ночевать. Я без двери боюсь.

Брат идёт, и Дунюшка за ним пыхтит, дверь прёт.

Вечер. Темень. На перекрёстке сосна матёрая.

Саня говорит:

— Залезем на эту сосну, ночь пересидим на сучьях. Безопасно будет.

Брат на сосну лезет, и Дунюшка за ним с дверью мостится. Расположила дверь на сучьях и легла.

А давишний горшечник домой едет мимо этой сосны. «Эх, я неладно сделал, глупую девку обманул. Надо её деньги сосчитать».

С телеги слез, под сосну сел, стал считать Дунины деньги: рубль... три рубля... девять... двенадцать...

Дунюшка сквозь сон слышит этот счёт. На край двери привалилась, чтобы поглядеть. Дверь перекувырнулась, Дунюшка и полетела, загремела с дверью вниз.

Горшечник рывкнул со страху, пал в телегу, лошадь настегал да домой без оглядки.

Брат с сосны слез, видит — деньги лежат.

— Дуня! Мои деньги!

Сосчитал — все до копеечки целы.

— Ну, Дуня, пойдём домой хозяйствовать. Нет нужды в город идти.

СУДНОЕ ДЕЛО ЕРША С ЛЕЩОМ



З ачинается-начинается сказка долгая, повесть добрая.

Ходил Ершишко, ходил хвастунишко с малыми ребятишками на худых санишках о трёх копылишках¹ по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ёрш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.

Приволокся Ёрш во славное озеро Онего. Володеет озером рыба Лещ. Тут Лещи — старожилы, тут Лёшова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ёрш кланяться горазд: он челом бьёт, затылком в пол колотит:

— Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека², на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное...

Пустил Лещ Ерша обночевать.

¹ Копылья — стояки, вдолбленные в полозья саней.

² Странный человек — здесь: странник, путник.

— Эй, красавица, горшков не надо ли?

— Надо, только денег настоящих нет, а всё бумажки пёстрые.

— Покажи!

Она деньги из сундука вынула, показывает. Деньги как деньги: рублёвки, трёшницы, пятишницы. Горшечник видит — девка глупая.

— Ладно, деньги мои, посуда твоя.

Дунюшка посуду в избу носит, всю избу заставила. На окнах кринки, на лавках кринки, на столах, на полках...

Брат приходит, глаза вытаращил:

— Дуня, это что?

— Посуда.

— Где взяла?

— Купила.

— Где деньги взяла?

— Я не деньги, а твои бумажки пёстрые отдала.

— Авдотья, ты меня разорила! Опять надо в город на заработки идти. И ты со мной пойдёшь. Собирайся.

Саня и видит: Дуня дверь с петель снимает, тяжёлую, дубовую.

— Куда ты с дверью-то?

— А может, в чистом поле будем ночевать. Я без двери боюсь.

Брат идёт, и Дунюшка за ним пыхтит, дверь прёт.

Вечер. Темень. На перекрёстке сосна матёрая.

Саня говорит:

— Залезем на эту сосну, ночь пересидим на сучьях. Безопасно будет.

Брат на сосну лезет, и Дунюшка за ним с дверью мостится. Расположила дверь на сучьях и легла.

А давишний горшечник домой едет мимо этой сосны. «Эх, я неладно сделал, глупую девку обманул. Надо её деньги сосчитать».

С телеги слез, под сосну сел, стал считать Дунины деньги: рубль... три рубля... девять... двенадцать...

Дунюшка сквозь сон слышит этот счёт. На край двери привалилась, чтобы поглядеть. Дверь перекувырнулась, Дунюшка и полетела, загремела с дверью вниз.

Горшечник рывкнул со страху, пал в телегу, лошадь настигал да домой без оглядки.

Брат с сосны слез, видит — деньги лежат.

— Дуня! Мои деньги!

Сосчитал — все до копеечки целы.

— Ну, Дуня, пойдём домой хозяйствовать. Нет нужды в город идти.

СУДНОЕ ДЕЛО ЕРША С ЛЕЩОМ



З ачинается-начинается сказка долгая, повесть добрая.

Ходил Ершишко, ходил хвастунишко с малыми ребятами на худых санишках о трёх копылишках¹ по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ёрш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни укутаться, и в рот положить нечего.

Приволокся Ёрш во славное озеро Онего. Володеет озером рыба Лещ. Тут Лещи — старожилы, тут Лёщова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ёрш кланяться горазд: он челом бьёт, затылком в пол колотит:

— Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека², на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное...

Пустил Лещ Ерша обночевать.

¹ Копылья — стояки, вдолбленные в полозья саней.

² Странный человек — здесь: странник, путник.

А Ёрш ночь ночевал, и две ночевал... Год жил, и два жил! И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ёрш ростом мала, да щетина у ей как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под рёбра подкалывати. Три года лещи белого свету не видали, три года лещи чистой воды не пивали.

С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-драка великая. Бились-дрались лещи с ершами. И по этой лещовой правде взяли лещи Ерша в полон, рот завязали, к судье привели.

Судья — рыба Сом с большим усом — сидит нога на ногу.

Говорит Лещ:

— Вот, господин судья... Жили мы, лещи, в озере Онежском, ниоткуда не изобижены. Озеро Онего век было Лещова вотчина и дедина. Есть у меня на это письма, и грамоты, и судные записи. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетинников, не ждан, не зван? Лисий хвост подвесил, выпросил у меня в Онеге ночь перележать. И я его за сиротство, ради малых ребят на одну ночь пустил. А он, вор, ночь ночевал, и две ночевал. Год жил и два жил... И теперь ершей в озере впятеро больше против нас, лещей. Да та худа рыба ерши ростом мала, а щетина у них, что лютые рогатины. И они по озеру нахвально прохаживают, лещей под рёбра подкалывают. Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут, а ерши наших девок худыми словами лают. С этой беды заводилась у нас с ершами драка немилостива, и по моей лещовой таланести взяли мы Ершишко Щетинникова в полон и к тебе привели: сидите вы, судьи, на кривде, судите по правде!

Говорит судья — рыба Сом:

— Каки у тя, Леща, есть свидетели, что озеро ваше, лещово?

Лещ говорит:

— Нас, лещей, каждый знает. Спроси рыбу Сёмгу да рыбу Сига. Живут в озере Ладожском.

Спрашивает судья Ерша:

— Ты, ответчик Ёрш, шлёсья ли таковых Лещовых свидетелей, Сёмгу да Сига?

Ёрш отвечает:

— Слатсья нам, бедным людям, на таковых само- сильных людей, Сёмгу да Сига, не мочно. Рыба Сёмга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых людей, изгубить.

Судья говорит:

— Слышишь, истец Лещ, Ёрш отвод делает... Ещё какие у тебя есть свидетели-посредственники?

Лещ говорит:

— Ещё знают мою правду честна вдова Щука да батюшко Налим. Живут в Неве-реке, под городом Питером.

Спрашивает судья Сом:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим тебе, Ершу, годны ли в свидетели?

Ёрш в уме водит: «Рыба Налим — у его глаза малы, губища толсты, брюхо большо — ходить тяжело, грамотой не доволен. Он не пойдёт на суд. А Щука — она пестра, грамотой востра, вся в меня, в Ёрша. Она меня не выдаст!

И Ёрш говорит:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим — то об- щая правда, на тех шлюся.

Посылает судья — рыба Сом — Ельца-стрельца, при- става Карася, понятого Судака по честну вдову Щуку, по батюшку Налима.

Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак из Онега-озера на Ладогу, с Ладоги на матушку Неву-реку. Стали щупать, нашли Щуку. Учали батюш- ку Налима искать. День искали, и два искали, не пили не ели и спать не валились. На третьи сутки — день к вечеру, солнце к западу — увидали под островом Ва-

сильевским колодину. Колодину отвортили — под колодиной батюшко Налим сидит.

Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак челом ударили:

— Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зовёт тебя судья — рыба Сом с большим усом — во славное озеро Онего во свидетели.

— О-о, робята! Я человек старой, у меня брюхо большо, мне идтить тяжело, язык толстой, непромятой, глаза малы — далеко не вижу, перед судьями не стаивал, у меня речь не умильна... Нате вам по гривенке. Не иду на суд!

Привели на суд Щуку.

Суд завёлся.

Вот судья — рыба Сом — сгремел на Ерша:

— Сказывай, ответчик Ёрш, каки у тя на Онежское озеро есть письма и крепости, памяти и грамоты?

И Ёрш ответ держит:

— У моего-то папеньки была в озере Онежском избишка, в избишке были сенишки, в сенишках была клетка, а в клетке сундучишко под замчишком. В этом сундучишке под замчишком были у меня, доброго человека, книги и грамоты, и судные записи, что озеро Онего — наша, ершова вотчина. А когда, грех наших ради, наше славное Онего горело, тогда и тятенькина избишка, и сенишки, и клетка, и сундучишко под замчишком, и книги, и грамоты, и судные записи — всё сгорело, ничего вытащить не могли.

В те поры Леща, и Щуку, и всех добрых людей, которые рыбы из озера Онега, горе взяло:

— Врешь ты, страхия! Нища ты коробка, кисла ты шерсть! Наше славное озеро Онего на веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы не бывало!

А Ерша стыд не имет. Он заржал не по-хорошему да опять своё звонит:

— Был у моего тятеньки дворец на семи верстах, на семи столбах. На полатах бобры, под полатами ковры —

то всё пригорело... А нас, ершей, знают в Питере, и в Москве, и в Соломбальской слободе, и покупают нас, ершей, дорогою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном, и великие господа, с похмелья кушавши, поздравляют...

И честна вдова Щука не стерпела:

— Нищая ты коробка! На овчине сидишь, про соболи сказываешь! Тридцать лет под порогом стоял, куски просил. А кто тебя, Ерша, знает да ведаёт, тот без хлеба обедает. Останется у голи кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку вас, ершей, сотню купят. А и уху сварят — не столько наедят, сколько расплюют.

И Ёрш к Щуке подскочил и ей плюху дал:

— Вот тебе раз! Другой бабушка даст!

И Щука запастила во весь двор:

— Караул, убивают! А озеро Онега век было лещово, а не ершово! Лещово, а не ершово!

Судья возгласил:

— Быть по сему! Получай, Ёрш, приказ от суда: уваливай из озера Онега.

Ёрш на ответ:

— На ваши суды плюю и сморкаю!

И Ёрш хвостом вернул, головой тряхнул, плюнул в глаза всей честной братии, только его и видели.

Пошёл Ершишко, пошёл хвастунишко на худых санишках о трёх копылишках с малыми ребятишками по быстрым рекам, по глубоким водам. По пути у Леща в дому все оконцы выхвостал...

Из Онега-озера Ёрш на Бело-озеро, с Бела-озера в Волгу-реку. Волга-река широка и долга.

Стоит в Волге-реке Осетёр. Тут Осетрова вотчина и дедина.

Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом бьёт, затылком о пол колотит:

— Ой еси, рыба Осетёр! Пусти меня в Волге-реке одну ночь перележать. За то тебя бог не оставит. Родителям вашим царство небесное...

А рыба Осетёр хитра и мудра. Она знает Ерша.

— Не пущу!

Ерш на него с кулаками. Ерша схватили, с крыльца спустили.

Ерш придумывает: «Рыба Осетёр хитра-мудра, а если будет вода мутна, Осетёр в гости пойдёт и невода не минует».

Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить, с берегов рыть. Волга-река замутилась, со жёлтым песком смешалась. Стали люди поговаривать:

— О, сколько рыбы поднялось! Воду замутили...

Люди невод сшили, стали рыбу промыслять. А рыба Осетёр хитра-мудра: видит, вода мутна — и она дома сидит, в гости не ходит.

Это Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых хором свищет, рад оконцы выстегать.

— Эй ты, Осетрина, старая корзина! Отпирай окна и двери, будем драться четыре недели. И я тебе голову оторву. Схожу сейчас пообедаю и приду тебя, Осетра, убивать.

Пошёл Ершишко обедать да и попал в невод. Из невода в медный котёл. Уху из Ерша сварили, хлебать стали. Не столько съели, сколько расплевали. А хоть рыба костлива, да уха хороша...

Сказка вся, больше врать нельзя.

ГЛУПЫЕ ЛЮДИ



варила бабушка на ужин каши полный горшок. Горшок невелик, не больше десятка фунтов крупы вошло.

Ну, эту кашу за ужином бабушка да дедушка вдвоём



«Золоченые лбы»



«Волшебное кольцо»

всю и обработали. Вот дедко ложку облизал и полез из-за стола:

— Ну, баба, я спать пойду.

— Как это спать? А горшок из-под каши кто будет мыть?

— А мне какое дело? Сама не хочешь — так горничную с судомойкой найми.

— Я кашу варила, а тебе горшок мыть.

— Не буду!

— Будешь!

Спору — хоть потолком полезай. До петухов шумели, наконец порешили, постановили: кто завтра первый с постели встанет да первый слово скажет — тому и мыть этот горшок.

Сделали меж собой такое условие и спать легли.

Ночь прошла, утро рассветало. Соседи коров выпустили, по хозяйству работают, хлопчут — день рабочий начался. Только около стариковой избушки — ни слуху ни духу. Соседи заудивлялись: что это старики не топят, не работают, коровушку не выпускают?

Бабы зашли к старикам.

Видят — дед лежит на печи, бабушка на лавке. Оба не спят, глазками так и глядят. Бабы поклонились:

— Здравствуй, дедушка, здравствуй, бабушка!

Старик молчит, и бабка молчит...

Бабы опять:

— Вы здоровы ли?

Дед — ни слова, и старуха ни гу-гу. Бабы выкатились из избы, полетели по домам с вестями:

— Старик да старуха заболели: лежат — не морщатся, глазами глядят, а ни слова не говорят!

В избу к старичкам вся деревня скатилась.

— Что с вами, дедушка да бабушка?

Молчат.

— Больны вы?

Лежат, молчат. Соседи поговорили и решили — надо фельдшера позвать.

Привели фельдшера. Он потрогал пульс и задал некоторые вопросы. На ответ старик молчит и старуха молчит. Фельдшер говорит:

— Науке известны такие факты. Пушай старички по-лежат, а около них кто-нибудь останьтесь за сиделку. Вот хоть ты, тётушка Анисья. У тебя ребят нету, дом близко, ты и посиди.

Соседка говорит:

— Остаться можно. Только мне за дежурство жалование положьте.

Фельдшер говорит:

— Како-так жалование... Вон старухино пальто висит. Ты это пальто за дежурство и возмёшь.

Нашу бабу с лавки как шилом подняло:

— Как же! Отдам я своё ново пальто! Нет, не отдам!..

И дедушка с печи свалился. Подлетел к старухе:

— Тебе мыть! Ты первая с постели встала, первая слово сказала! Тебе горшок мыть! Ура!!!

ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ



а веках не в некотором осударстве царь да ише другой мужичонка исполу¹ промышляли.

И поначалу всё было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идёт, тут уж они первым бесом.

Царь за рюмку, мужик за стакан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом.

¹ Исполу — на равных, вместе.

Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царём. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято.

Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идёт: питьё, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету.

Вот пир к концу заприходил. Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адъютант Королёв в гармонь заиграл, она вылезла серёдка залы и заходила с платочком, запраптывала:

Эх, я стояла у поленницы, у дров.
По угору едет Ваня Королёв.
Отчего далёко видела:
От часов цепочка светила.
Цепочка светила в четыре кольчика,
У милого нету колокольчика.
У милого коробок, коробок,
Я гуляю скоро год, скоро год!

Сенаторы, которы потрезве, смеются:

— Хы-хы! При муже кавалера припеват. Вот до чего — и то ничего.

И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев распахал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, сейчас подлетел, ногами шаркнул и заходил вокруг ей вприсядку, с прискоком, с присвистом. Песню припеват:

Разве нищие не пляшут?
Разве песен не поют?
Разве по миру не ходят?
Разве им не подают?

А у самого калошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, карманы вывернуты. Под левым глазом сник. И весь Капитон пьяне вина! Царь немножко-то соображает. Как стукнет по столу да как рывкнёт;

— Вон, пьяна харя! Убрать его!

Капитонко царя услышал, обрадовался, здороваться лезет, целоваться:

— На, пёс с тобой, ты вот где? А я с ног сбился, тебя по трактирам, по пивным искавши!

Придворны гости захикали, заощерялись. Это царю неприлично:

— Кисла ты шерсть! Ну куда ты мостиссе?! Кака я те, пьяница, пара? Поди выпись.

Капитонку это не обидно ли?

— Не ты, тиран, напоил! Не тебя, вампира, и слушаю! Возьму батог потяжеле, всех разбросаю, кого не залюблю!

Брани — дак хоть потолком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. Одежонку прирвали, корону по комод закатали. Дале полиция их розняла, протокол составили.

С той поры Капитона да императора и совет не забрал. И дружба врозь. Мужичонко где царя увидат, всё страшат:

— Погоди, навернёссе ты на меня. Тогда увидам, который которого наиграт.

Судятся они друг со другом из-за каждого пустяка. Доносят один на другого. Чуть у царя двор не убран или помойну яму запакостили, мужичонко сейчас ко квартальному с ябедой.

Вот раз царь стоит у окна и видит: Капитонко крадётся по своему двору (он рядом жил) и часы серебряны в дрова прятат. Уж верно крадены.

Царь обрадовался:

— Ладно, забуба! Я тебе напряду на кривое-то веретено.

Сейчас в полицию записку. У мужика часы нашли — и самого в кутузку. Он с недельку отсидел, домой воротился. И даже супу не идёт хлебать, всё думат, на царя сердце несёт. Вот и придумал.

У царя семья така глупа была — и жена, и дочери, и

маменька. Цельной день по окнам плятятся, кивают, кавалерам мигают, машут. Царь их никуда без себя не пускает в гости. Запоежжат на войну ли, на промысел — сейчас всех в верхней этаж созбирает и на замок закрывает.

А вокурат тот год, как промеж царём да Капитонком ошуда пала, в царстве сахару не стало. Капитонко и придумал. Он в короб сору навалил, сверху сахаром посыпал да мимо царский дворец и лезет, пыхтит, тяжело несёт... Царские маньки да ваньки выскочили:

— Эй, мужичок! Откуда эстольку сахару?

— На! Разве не слыхали? Заграничны пароходы за Пустым островом стоят, всем желающим отсыплют.

Ваньки-маньки к царю. Царь забежал, зараспоряжался:

— Эй, лодку обряжай! Мешки под сахар налаживай!

Аграфена с дочкой губы надувают:

— Опять дома сидеть... Выдал бы хоть по полтиннику на тино, в тиматограф сходить. Дома скука, вот так скука дома!

Царь не слушат:

— Скука? Ах вы лошади, кобылы вы! Взяли бы да самоварчик согрели, граммофон завели да... Пол бы вымыли.

Вот царь замкнул их в верхнем этажу, ключ в контору сдал, мешки под сахар в лодку погрузили и, конечно, пива ящик на свою потребу. Паруса открыли и побежали за Пустые острова. С царём свиты мужика четыре. Провожающий народ на пристани остался. Все узнали, што царь по сахар кинулся. Капитонко украулил, што царя нету, сейчас модной сертук напрокат взял, брюки клёш, камаши с калошами, заместо бороды метлу, штобы не узнали. Потом туес полон смолы, пеку чёрного налил, на голову сднул, идёт по городу да вопит:

— Нет ли лбов золотить?! А вот кому лоб золотить?

К царскому дворцу подошёл да как вякнет это слово:

— А нет ли лбов золотить?!

Царёва семеюшка были модницы. Оне из окон выпехались, выпасть рады.

— Жалам, мы жалам лбов золотить! Только ты, верно, дорого спросишь?

— По причине вашей выдающей красоты отремонтируем бесплатно. К вам которой затти?

— Мы сидим замчёны и гостей к себе на канате, на блочку подымам.

Вот они зыбочку спустили, тот примостился:

— Полный ход!

У Аграфены силы не хватат. Мужик тяжолой, да смолы полпуда. Аграфена девку да матку кликнула. Троима за канат ухватились, дубинушку запели:

Эх, што ты, свая наша, стала!

Эх, да закопёрщика не стало!

Эх, дубинушка, ухнем!

Эх, зелёная, сама пойдёт!

Затянули Капитона. На диван пали, еле дышут:

— Первой экой тяжёлой мужик. Вы откулешны будете, мастер?

— Мы европейских городов. Прошлом годе англиску королеву золотом покрывали, дак нам за услуги деплом из своих рук и двухтрубный мимоносец для доставки на родину. Опеть французскому президентну, извините, плешь золотили.

— А право есть?

Капитонко им стару квитанцию показыват, оне неграмотны, думают — деплом.

— А, очень приятно. Этого золота можно посмотреть?

— Никак нельзя. Сейчас в глазах ослепление и прочее. Во избежание этого случая, докамест крашу и полирую, глаз не отворять. Пока не просохнете, друг на дружку не глядеть и зеркало не шевелить.

Царицы жалко стало золота на бабку.

— Маменька-та стара порато¹, уж, верно, не гожа под позолоту-ту... Маменька, ты в позолоту хошь?

— Ась?

— Хошь, говорю, вызолотище?

— Ась?

— Тьфу, изводу на тебя нету! Вот золотых дел мастер явился. Хошь, обработат?

— Ну как не хотеть? Худо ли для своо умиления к празднику вызолотицца!

Капитон их посадил всех в ряд.

— Глазки зашшурьте. Не моги некотора здреть!

Он смолы поварённой зачерпнул — да и ну ту, да другу, да третью.

— Мастер, што это позолота на смолу пахнет?

— Ничево, это заготовка.

А сам насмаливат. Мажет, на обе щеки водит.

У их, у бажонных, уж и волосья в шапочку слились.

А он хвалит:

— Ах, кака прелись! Ах кака краса!

Те сидят довольнёхоньки, только поворачиваются:

— Дяденька, мне этта ишше положь маленько на загривок...

Капитон поскрёб поварённой со дна. Потяпал по макушкам.

— Всё! Ну, ваши величия! Сияние от вас, будто вы маковки соборны. Сейчас я вас по окнам на солнышко сохнуть разведу.

Аграфену в одно окно посадил, девку в друго, а бабенька на балкончик выпросилась.

— Меня,— говорит,— на ветерку скорее захватит.

Мастеру некогда:

— Теперь до свидания, оревуар! Значит, на солнышке сидите, друг на дружку не глядите, только на публику любуйтесь. Папа домой воротицца, вас похвалит, по

¹ Порато — очень.

затылку свой колер наведёт. Ему от меня привет и поцелуй.

Тут Капитон в окно по канату, да только его, мазурика, и видели.

У царя дом глазами стоял на площадь, на большу, на торгову. Там народишку людно. Мимо царской двор народу идёт, как весной на Двины льду несёт. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царска семья высмолены сидят, как голенишша чёрны, как демоны. Бабушка на балконе тоже как бугирь какой. Народ это увидел и сначала подумали, што статуи, негритянска скульптура с выставки куплена. Потом разглядели, что шевелятся,— россудили, што арапы выписаны ко двору. А уж как царску фамилию признали, так город-от повернулся. Учали над чёрными фигурами сгогатывать. Ко дворцу со всех улиц бежат, по дороге завязываются. Матери ребят для страху волокут:

— Будете реветь, дак этим чёрным отдаим!

Мальчишки свистят, фотографии на карточку царскую семью снимают, художники патреты пишут...

О, какой срам!

Напротив царского дома учреждение было — Земной удел. И тут заседает меницинский персонал. Начальники-ти и увидали царску фамилию в таком виде и народно скопление. Не знают, што делать. И тут ише явились извошшишьи деликаты. На коленки пали и сказали:

— Господа начальники! Бабенька царская, прах сима, в чёрном виде на балконе сидят, дак у нас лошади бросаются, седоки обижаются, двоих седоков убило. Пропа-а-ли наши головушки! И-и-хы-хы-хы-ы!

Извошшики заплакали, и все заплакали и сказали:

— Пойдёмте всенародно умолять ихны величия, не пожалеют ли, пожалуство, простого народу!

Вот запели и пошли всема ко дворцу. Выстроились перед палатами в ширинку, подали на ухвате прошение. Аграфена гумагой машет да кивает. И бабка ужимается,

и девка мигает. Оне думают — народ их поздравлять пришёл.

Што делать? Натъ за царём бежать. А всем страшно: прийти с эдакой весью, дак захвоснёт на один взмах. Однако главной начальник сказал:

— Мне жись недорого. На бутылку дайте, дак слетаю.

Чиновники говорят:

— Ура! Мы тебе ераплан либо там дерижаб даим, только ты его за границу не угони.

Начальник в ероплан вставился, от извошшиков деликат в кучера. Пары розвели, колесом завертели, со-свистели. Ух, порхнули кверху, знай держи хвосты козырем! Пока в городе это дело творицца, царь на Пустых островах в лютой досады сидит. Ехал — ругался, што мешков мало взяли, приехал — сыпать нечего. Ни пароходов, ни сахару; хоть плачь, хоть смейся. Сидит егово величие, пиво дует. В город ни с чем показаться совестно. Вдруг глядит — дерижаб летит. Машина пшикнула, пар выпустила, из ей начальник выпал с деликатом. Начальник почал делать доклад:

— Ваше высоко... Вот какие преднамеренны поступки фамилия ваша обнаружила... Личики свои в тёмном виде обнародовали. Зрителей полна площадь, фотографы снимают, несознательны элементы всякие слова говорят...

Царь руками сплескался — да на дерижаб бегом. За ним начальник да деликат. Вставились, полетели. Деликат вожжами натряхиват, начальник колесом вертит, амператор пару поддаёт, дров в котёл подкидыват... Штобы не так от народу совесно, колокольчик отвязал.

Вот и город видать, и царски палаты. На площади народишко табунится. Гул идёт. Меницинской персонал стоит да кланеится. Мальчишки в свистульки свистят, в трупметки трубят. Царь ажно сбрусвянел.

— Андели, миру-то колько! Срам-от, срам-от какой! Деликат, правь в окно для устрашенья!

Народ и видит — дерижаб летит, дым валит. Пра-аз! В окно залетели, обоконки высадили, стёкла посыпались, за комод багром зачалились.

Выкатил царь из машины — да к царицы.

— Што ты, самоедка... Што ты, кольско страшилишшо!

Аграфена засвистела:

— Ра-а-атуйте, кто в бога верует!!

Царь дочку за чуб сгорстал. У ей коса не коса, а смолёна верёвочка.

Царь на балкон. Оттуда старуху за подол ташшит, а та за перила сграбилась да пасть на всю площадь отворила.

Народ даже обмер. Не видали сроду да и до этого году. Еле царь бабку в комнату заволок.

— Стара ты корзина! Могильна ты муха! Сидела бы о смертном часе размышляла, а не то што с балкона рожу продавать.

Вот оне все трое сидят на полу — царица, бабка да дочка — и воют:

— Позолоту-ту сби-и-л, ах, позолоту-ту сгубил! Ах, пропа-а-ла вся краса-а!..

— Каку таку позолоту?!

— Ведь нас позолотили, мы сидели да сохли-и.

— Да это на вас золото??? Зеркало сюда!..

Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смолёны-ти рожи глаза розлепили, себя увидали, одночасно их в омморок бросило.

Полчасика полежали, опять в уме сделались. Друго запели:

— Держите вора-мазурика!.. Хватайте бродягу!

Царь кулаком машется:

— Сказывайте, как дело было.

Вот те в подолы высморкались, утёрлись, рассказывают...

Царь слушал и сам заплакал:

— Он это! Он, злодей Капитонко, мне налил... Он,

вор, меня и из города выманил. Не семья теперь, а мостова асфальтова! Ишь пеком-то вас как сволокло... Охота народ пугать, дак сами бы сажи напахали, да розвели, да и мазали хари-ти... Дураки у меня и начальники. Кланяться пришли... Взяли бы да из пожарного насоса дунули по окнам-то. Холеры вы, вас ведь теперь надо шкrapить...

— Ничего, папенька, мы шшолоку наварим, и пусть поломойки личики наши кажно утро шоркают.

Царь побегал-побегал по горнице, на крыльцо вылетел.

Народишко, который ради скандалу прибежал, с крыльца шарахнулся.

Царь кричит:

— Стой! Нет ли человека, кто мужика со смолой в рожу видел?

Выскочили вперед две торговки, одна селёдошница, друга с огурцами.

— Видели, видели! Мушшина бородатый в сертуке туда полз с туесом, а обратно порозной.

— В которую сторону пошёл?

— А будто по мосту да в Заречье справил.

— Тройку коней сюда!— царь кричит.

Тройку подали. Царь с адъютантом сел, да как дунули, дунули, только пыль свилась да народ на карачки стал. Через мост, к зарецким кабакам, перепорхнули. Катают туда-сюда, спрашивают про Капитонка:

— Тут?

— Нет, не тут.

— Тут?

— Нет, не этта!

Буди в канской мох мужичонко провалился... А Капитонко ведь там и был. Учужал за собой погоню — бороду, метлу-гу, отвязал, забежал в избушку. Там старуха самовар ставит, уголье по полу месит.

— Ты, бабушка, с чем тут?!

— Чай пить средилась. А ты хто?

— Чай пить?! Смертной час пришёл, а она чай пить...
Царь сюда катит, он тя застрелит.

— Благодетель, не оставь старуху!

— Затем и тороплюсь. Скидывай скорей сарафанишко да платок, в рогозу завернись да садись под трубу вместо самовара.

Живёхонько они переменились. Капитонко уж в сарафане да в платке по избы летает, самовар прячет, бабу в рогозу вертит, на карачки ей ставит, самоварну трубу ей на голову нахлобучил:

— Кипи!

Тут двери размахнулись, царь в избу. Видит — старуха около печки обрезаются:

— Бабка, не слыхала, этта мужик в сертуке мимо не ехал?

А Капитонко бабьим голосом:

— Как не видеть! Даве мимо порхнул, дак пыль столбом.

— В котору сторону?

— Не знай, как тебе рассказать... Наша волость — одны болота да леса. Без провожатого не суниссе.

— Ты-та знашь место?

— Родилась тут.

— Бабка, съезди с моим адъютантом, покажи дорогу, найти этого мужика... А я тут посижу, боле весь росслаб, распался... Справиссе с заданием, дак обзолочу!

Мазурик-то и смекает:

— Золотить нас не нать, а дело состряпам. Сидите, грейте тут самоварчик, мы скоро воротимся, чай пить будем.

Капитонко в платок рожу пуще замотал — да марш в царску коляску. Только в лесок заехали, эта поддельна старуха на ножку справилась, за адъютанта сграбилась да выкинула его на дорогу; вожжи подобрала, да только Капитонка и видели.

А царь сидит, на столе чашки расставляют.

Бедна старуха под трубой — ни гу-гу.

На улице и темнеть стало. Царю скучно:

— Што эко самовар-от долго не кипит?

Его величество трубу снял, давай старухе уголье в рот накладывать... Удивляется, што тако устройство. Потом сапог скинул, бабки рожу накрыл, стал уголье раздувать. Старуха со страху еле жива, загудела она, зашумела, по полу ручей побежал...

Царь забегал:

— Ох-ти мне! Самовар-от ушёл, а их чай пить нету. Скорее надо заварить...

Хочет самовар на стол поставить.

— На! Где ручки-те?

Старуху за бока прижал, а та смерть шшекотки боится: она как визгнет не по-хорошему... И царь со страху сревел — да на шкап. А старуху уж смех одолел. Она из рогозы вылезла.

— Ваше величество, господин амператор! Не иначе, што разбойник-от этот и был. Как он нас обоих обмакулил, омманул...

Ночью царь задами да огородами пробрался домой, да с той поры и запил, бажоной.

А Капитонко в заграницу на тройке укатил и поживат там, руки в карманах ходит, посвистывают.

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО



или Ванька двоима с матерью. Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутатца и в рот положить нечего. Однако Ванька каждой месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идёт оногды с этима деньгами, видит — мужик собаку давит:

— Мужичок, вы пошто пшшенка мучите?

— А твоё како дело? Убью вот, телячьих котлетов на-делаю.

— Продай мне собачку.

За копейку сторговались. Привёл домой:

— Мама, я шшеночка купил.

— Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожи-ли, а он собаку покупат!

Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идёт домой, а мужик кошку давит.

— Мужичок, вы пошто опять животину тираните?

— А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу.

— Продай мне.

Сторговались за две копейки. Домой явился:

— Мама, я котейка купил.

Мать ругаться, до вечера гудела.

Опять приходит время за получкой идти. Вышла ко-пейка прибавки.

Идёт, а мужик змею давит.

— Мужичок, што это вы всё с животными балуете?

— Вот змея давим. Купи?

Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом:

— Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея.

Ванька с ей поздоровался. Домой заводит:

— Мама, я змея купил.

Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясёт. А змея затенулась под печку и говорит:

— Ваня, я этта буду помешшаться, покамес хороша квартира не отделана.

Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера, Вань-ка с мамой да змея Скарапея.

Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовёт, по отчеству не виличат, имени не спрашивают, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак matka Ванькина ей на

хвост каждой раз наступит. Скарапея не хочет здесь жить:

— Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папы!

Змея по дороге — и Ванька за ней. Змея в лес — и Ванька в лес. Ночь сделалась. В тёмной дебри стала перед ними высока стена городского с воротами. Змея говорит:

— Ваня, я змеиною царя дочерь. Возьмём извошника, поедём во дворец.

Ко крыльцу подкатили, стража честь отдаёт, а Скарапея наказывает:

— Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно — золотно, волшебю.

Змеиною папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить.

— По-настоящему, — говорит, — вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговорённой. А мы вас деньгами отдарим.

Наш Иванко ничего не берёт. Одно поминат кольцо волшебю.

Кольцо выдали, рассказали, как с им быть.

Ванька пришёл домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новый хозяин, нать?

— Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да...

Утром мати корки мочит водою да сосёт, а сын говорит:

— Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать?

— Пирогов-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись!

— Мама, обуй-ко глаза-те да поди в анбар!

Матка в анбар двери розмахнула, да так головою в муку и ульнула.

— Ваня, откуда?

Пирогов напекли, наелись, в город муки продали,

Ванька купил себе пинжак с корманами, а матери платьё модно с шлейфом, шляпу в цветах и зонтик.

Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят.

Опять Ванька и говорит:

— Ты што, мамка, думаеш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочь.

— Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?

— Иди, сватай, не толкуй дале.

Ну, Ванькина мать в модно платье сходилась, шляпу широкопёру наложила и побрела за реку, ко дворцу. В палатку зашла, на шляпы каждой цветок трясётся. Царь с царицей чай пьют, сидят. Тут и дочь-невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала среди избы под матицу¹:

— Зрасте, ваше велико, господин амператор. У вас товар, у нас купец. Не отдайте ли вашу дочь за нашего сына взамуж?

— И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?

Мать на ответ:

— Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.

Царица даже чай в колени пролила:

— Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в сору каком, роемся-выбираем, дак пойдёт ли наша девка за мужика взамуж? Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем женихово житье смотреть.

Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:

— Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила...

— На! Неужели не согласны?

¹ М а т и ц а — в крестьянской избе — опорная балка потолка.

— Обрадовались... Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыльца мост будет хрустальной, тогда придут женихово житьё смотреть.

— Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.

Ночью Иванко переменял кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новый хозеин, нать?!

— Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевским палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.

Того разу, со полуночи за рекой стук пошёл, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:

— Халера бы их взяла с ихной непрерывкой... То субботник, то воскресник, то ночесь работа...

А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шестке. А утром прохватались... На! Што случилось!.. Лежат на золочёных кроватях, кошечка да собачка ново помещенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотреть. Везде зеркала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а ланпы горят... Толь богато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.

— Ну, мама,— Ванька говорит,— оболокись помодне да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жених, на машинки подкачу.

Мама сарафанишко сдёрнула, барыной наредила, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост, сй создаи ветерок попутной дунул — она так на четвереньках к царскому дворцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:

Ванька купил себе пинжак с корманами, а матери платье модно с шлейфом, шляпу в цветах и зонтик.

Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят.

Опять Ванька и говорит:

— Ты што, мамка, думаеш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочь.

— Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?

— Иди, сватай, не толкуй дале.

Ну, Ванькина мать в модно платье средилась, шляпу широкопёру наложила и побрела за реку, ко дворцу. В палатку зашла, на шляпы каждой цветок трясётся. Царь с царицей чай пьют, сидят. Тут и дочь-невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала среди избы под матицу¹:

— Зрасте, ваше велико, господин амператор. У вас товар, у нас купец. Не отдайте ли вашу дочь за нашего сына взамуж?

— И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?

Мать на ответ:

— Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.

Царица даже чай в колени пролила:

— Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в сору каком, роемся-выбираем, дак пойдёт ли наша девка за мужика взамуж? Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем женихово житье смотреть.

Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:

— Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила...

— На! Неужели не согласны?

¹ М а т и ц а — в крестьянской избе — опорная балка потолка.

— Обрадовались... Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыльца мост будет хрустальной, тогда придут женихово житьё смотреть.

— Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.

Ночью Иванко переменял кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новый хозеин, нать?!

— Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевскими палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.

Того разу, со полуночи за рекой стук пошёл, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:

— Халера бы их взяла с ихной непрерывкой... То субботник, то воскресник, то ночесь работа...

А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шестке. А утром прохватались... На! Што случилось!.. Лежат на золочёных кроватях, кошечка да собачка ново помещенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотреть. Везде зеркала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а лампы горят... Толь богато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.

— Ну, мама,— Ванька говорит,— оболокись помодне да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жених, на машинки подкачу.

Мама сарафанишко сдёрнула, барыной наредилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост, ей созади ветерок попутной дунул — она так на четвереньках к царскому дворцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:

— Здравсьте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватаньем. Вы загодочку задали: мос состряпать. Дак пожалуйста работу принимать.

Царь к окошку, глазам не верит:

— Мост?! Усохни моя душенька, мост!..

По комнаты забегал:

— Карону суда! Пальтё суда! Пойду пошшупаю, может, ише оптический омман здренья.

Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат... А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идёт и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном:

— Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать...

Царь не знат, што делать:

— Хы-хы! Я-то бы ничего, да жона-то как?

Царица руками-ногами машет:

— Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?!

Тут вся свита заговаривала:

— Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз!

Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица встались в каютку. Свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатались, значит.

Царя да царицу той же минутой укачало. К шшасьё, среди моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяится. Они, бажоны, никаких слов не принимают:

— Ох, тошнёхонько... Ох, укачало... Ух, растресло, растрепало... Молодой человек, мы на всё согласны! Бери девку. Только вези нас обратно. Домой поворачивай.

Свадьбу средили хорошу. Пирогы из печек летят, ви-

но из бочек льётся. Двадцать генералов на этой свадьбе с вина сгорело. Всё торжество было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницы хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки:

— Супруг любезной, ну, откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!

Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и рассказал. Как только он заснул, захрапел, царевна стащила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца:

— Што, нова хозяйка, нать?!

— Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом и поставьте среди городу Парижу, где мой миленькой живёт.

Одновременно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежней избушке оказались. Только Иванко и женат бывал, только Егорович с женой сыпал! Все четверо сидят да плачут.

А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дома нету. Конечно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку, в тёмну. Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одним окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке:

— Вот што, Белой, сам себе на радость ништо не живёт. Из-за чего мы бьёмся? Давай, побежим до города Парижа Ванькино колечко добывать.

Собачка бела да кошка сера кусочков засушили и в дорогу. Переправились через реку быстру и побрели лесами тёмными, пошли полями чистыми, полезли горами высокими.

Сказывать скоро, а идти долго... Вот и город Париж. Ванькин дом искать не долго. Стоит среди города, и мост хрустальной — как колечко. Собака у ворот спря-

талась, а кошка зацарапалась в спальню. Ведь устройство знакомо.

Ванькина молодуха спит и волшебное кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевны в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила да в окно, да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радёхоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед има река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось, как попасть? Собака не долго думат:

— Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то сядь ко мне на спину, живёхонько тебя на ту сторону перепехну.

Кошка говорит:

— Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной.

— Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали!

Плывут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и серёдка реки. Собака отдувается:

— Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!

Кошке ответить некак, рот занет...

Берег недалеко. Собака опеть:

— Вить, ежели хоть одно слово скажешь, дак всё пропало. Не вырони кольца!

Кошка и брякнула:

— Да не уроню!

Колечко в воду и булькнуло... Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются. Собака шумит:

— Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!

Кошка не отстават:

— Последня тварь — собака! Кабы не твои разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить!

А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят:

— Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбины черева дать.

Кошка с собакой рыбы внутренности стали ись да своё кольцо и нашли...

Дак уж, андели! От радости мало не убились. Вижат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город.

Собака домой, а кошка к тюрьмы.

По тюремной ограды на виду ходит, хвост кверху! Курнякнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать:

— Кыс-кыс-кыс!!

Машка по трубы до Ванькиной казематки доцарапалась, на плечо ему скочила, кольцо подаёт. Уж как бедной Ванька зардовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца:

— Што, новый хозеин, нать?!

— Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся.

Так всё и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной поднекло и на Русь потащило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото.

А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешшаться во своём доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.

ПРОНЬКА ГРЕЗНОЙ



Были три брата, три американа, и сидели они за морем. Старшой прошёл все науки и нажил больши капиталы. Однажды созвал он братьев и говорит:

— Пока сила да здоровье позволят, охота мне белой свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, покамест славы не добуду.

Братья запричитали:

На кого ты нас оставляешь,
на кого ты нас покидаешь?
Мы ростом-то велики,
а умом-то мы малы.
Уж мы ляжем да не вовремя,
уж мы встанем да не во пору!

Расстроили старшого:

— Разорвало бы вас, как жалобно сказываете... Вот вам тысячу золотых на разживу.

Молодцы деньги приняли, благодарно стукнули лбом в половицу и сказали:

— Дорогой брат и благодетель! Ежели не секрет, в каку ты державу прависсе?

— Надумано у меня в российски города.

— Дорогой брат и благодетель! И нам в Америки не антиресно. Тоже охота счастье испытать. Возьми нас с собой.

— Россия страна обширна. Хотите — поезжайте, хотите — нет.

Вслед за старшим братом приезжают эти молодые американы в Питербурх. Сидят в гостиницы, головы ломают, на како бы дело напуститься. Увидали на столе

календарь. В календаре на картины царь написан с дочерями. Эти дочери пондравились.

— Давай посватаемся у царя! Вдруг да наше счастье?

Послали во дворец сватью. А царские дочери были самовольны и самондравны. Кажна по четыре кукиша показала:

— Мы в женихах-то, как в навозе, роемся. Князьёв да прынцов помахиваем. На фи́га нам твои американы, шваль такая!

Младша добавила:

— Не хотят ли на нашей рыжей кобылы посвататься? Она согласна.

Так эта любовь до времени кончилась.

Теперь пойдёт речь за старшим братом. Он тоже посиживат на квартиры, рассуждат сам с собой:

— Годы мои далеко, голова седа, детей, жены нету, денег не пропить, не происть. Натъ диковину выкинуть всему свету на удивленье.

В торговой день от скуки он пошёл на толкучку и видит — молодой парень ходит следом и глаз не спускает.

Через переводшика спросил, что надо. Парень не смутился:

— Очень лестно на иностранной державы человека полюбоваться. Костюм на вас первый сорт-с...

Американин портфель отомкнул, в деньгах порылся и подаёт парню трёшку:

— Выпей в честь Америки!

А тот на портфель обзарился. Навеку столько денег не видал. Американину смешно:

— Верно, нравятся богатые люди?

— Бедны никому не нравятся.

— Имя ваше как?

— Пронькой ругают.

— Зайдиге, мистер Пронька, вечером поговорить ко мне на квартиру.

В показанное время Пронька явился по адресу. Хозяин посадил его в мягки кресла:

— Увидел я, мистер Пронька, велику в тебе жадность к деньгам и надумал держать с тобой пари. Я, американской гражданин, строю на главном припяхте магазин, набиваю его разнообразными товарами и передаю тебе в пользование. Торгуй, разживайся, капиталы оборачивай, пропивай, проедай... За это ты, мистер Пронька, пятнадцать лет не должен мыться, стричься, бриться, сморкаться, чесаться, утираться, ни белья, ни одежды переменять. Мои доверенны будут твои торговые книги проверять и тебя наблюдать. Ежели за эти пятнадцать лет хоть однажды рукавом утрёссе, лишаю тебя всего нажитого и выбрасываю тебя босого на улицу. Ежели же вытерпишь, через пятнадцать лет хоть во ста миллионах будь, всё твоё бесповоротно. Далее, как учёной человек, буду я про тебя книги писать и фотографом снимать. Вот, мистер Пронька, подумайте!

Мистер Пронька говорит:

— Живой живое и думает. Согласен.

К нотариусу сходили, бумагу сделали, подписи, печати.

Дело, значит, не шутово.

Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, месяцы за месяцами... Первы-то годы Пронька спал по два, по три часа. Товары получают, товары отпускают — из кожи рвётся, торгует. В пять годов он под себя дом каменной — железна крыша — поставил. К десяти годам в каждом губернском городе Пронькин магазин, в каждой деревне лавка. Наблюдение за выполнением американин доверил двум своим братьям, несчастным от любви, узнавши, что они не при деле да не при месте.

День за днём, год за годом зарос Пронька, аки зверь, аки чудо морское. Лицо, руки — чернее башмаков, грива на голове метлой, бородишша сваялась, лохмотья висят. Летом дождик поадаёт на голову — то и мытьё.

Год за годом хлебошится в грязи, только и радуется, что над деньгами. А денег — всей конторой считают.

Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках. Как навозну кучу, повезут по городу. Однако этой куче ото всех почёт и уважение. Все у ней в долгу. Сам осударь тысячами назаймовал. К двенадцати-то годам у Проньки на царя полна шкатулка кабальных записей. Вот каку силу мужичонко забрал!

Только своего американина наш капиталист боится. Всё терпит. Американин его помесечно аппаратом снимат во всяких видах, измеряют, во сколько слоёв грязиросло, вшей вычислят, каждогодно насчёт Проньки сочиненье издават. В американских тиматографах стали шевелюющих пронек показывать. Ну, экой бы славы не все рады.

Год за годом, скоро и сроку конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился, ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли.

Тут соседни державы на царя войной погрозили. Надо крепостям ремонт, надо еропланы клеить, выпускать удушливы газы. А казна поробна.

Царь Проньки записку:

— Одолжите полдесятка миллиончиков.

Пронька сдумал думушку и не дал. Царь, подождав, посылат министра. Пронька сказался, что болен. Царь лично прикатил:

— Ты что, сопля пропáшша, куражиссе? Как хошь, давай денег!

— Никак не могу, ваше величие! Вы и так в долгу, что в море,— ни дна, ни берегов.

— Хошь, я тебя, бандита, енералом пожалуйу?

— Даже в графы нам и то не завлекательно. А коли до самого дела, дозвольте с вами породниться и вашу дочь супругою назвать.

— Что ты, овин толстой! Что ты, вшива биржа! Да иоглядись-ко ты в зеркало...

— В зеркало мы о святках смотряли, и вышло, что воля ваша, царская, а большина наша, купецкая.

У царя губы задрожали:

— Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропаща!..
А у меня девки-то три, котора нать?

— Какú пожалуете.

— Тогда хоть партрет сресуй увеличенной с твоей рожи. Я покажу, бывает, котора и обзарится. Только имей в виду — в теперешно время нету настоящего художника. Наресуют, дак зубы затрясёт.

За мастером дело не стало. В три упряга окончено в красках и приличной раме.

Пронька со страху прослезился:

— Сатаной меня написали... Знают, как сироту избидеть... Уж и каждой-то меня устрашится, уж и всякой-то меня убоится!

Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет:

— Вот, дорогие дочери! Есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, аригинальный старичок, зато коммерсант богатеющей.

Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал и ухватом — всё напрасно. Друга дочка сперва тоже заревела, дале сграбилась за раму да с размаху родителю на голову и надела... Младша дочь явилась, папаша сидит в картины и головой из дыры навёртывает.

— Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грезиши да волосиши, он тебя обажать будет нельзя как лучше...

Девка его пересекла:

— Плевать я хотела, что там обажать да уважать! Ты мне справку подай, в каких он капиталах, какá недвижимость и что в бумагах!..

Она с отчишком зашумела. В те поры старша из подпечка выбралась да к средней сестре катнула:

— Сестрича, голубушка, татка-то одичал, за облизьяна за шорснатого замуж притугинива-а-ат! Убежим-ко во болота во дыбучи, а мы схоронимся в леса да во дремучи!

— В дыру тебя с лесом! Мы в Америку дунем. Чёрт ли навозного лаптя лизать, когда нас американцы ждутся.

У старшухи слёзы уж тут:

Ох, чужедашня та сторонущка,
Она слезами поливана,
Горьким горем огорожена...

— Реви, реви, корова косая! Вот уж таткин облизьян обнимать придёт.

— О, не надо, не надо!

— Не надо, дак выволакивай чемоданы, завязывай уборы да сарафаны! А я фрелину к тем понаведоваться сгоняю.

Два брата, два американа рады такому повороту. Ночью подали к воротам грузовик, чемоданы и обеих девок погрузили да и были таковы. Дале и повенчались и в Америку срядились на радостях. Мужья рады дома жёнами похвастаться. Жёны рады, что от Проньки ушли.

Тут Пронькины пятнадцать годов на извод пришли. У него мыло просто и душисто пудами закуплено, мочалок, веников, дресвы возами наготовлено. Везде по комнатам рукомойники медны, мраморны умывальники, а также до потолка сундуков с костюмами зимними, летними, осенними, весенними и прочих сезонов.

В последний нонешний денёчек является Пронька к своему американу. Опять к нотариусу сходили, все договоры разорвали, по закону ни во что положили и любезно распростились. Пронька, что птичка, на волю выпорхнул.

Радось за радостью — царь объявляет о дочкином согласии. Поторговались, срядились. На остатки наречённой жених говорит:

— Итак, через полмесяца свадьба. В венчальной день публика увидит неожиданный сюрприз.

На другое утро он снял под себя городски бани на две недели и пригласил двенадцать человек баншиков и двенадцать паликмахтеров. И вот бани топят, вода кипит,

аки гром гремит, баншики в банны шайки, в медны тазы позванивают. Паликмахтеры в ножницы побрякивают.

Неделю Проньку стригли садовыми ножницами, скобелили скобелем, шоркали дресвой и песком тёрли. Неделю травили шшолоком, прокатывали мылами семи сортов, полоскали, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили.

В венчальной день двенадцать портных наложили царскому жениху трахмальны манишки, подали костюм последней париской моды, лаковы шшиблеты и прочее.

И как показался экой жентельмен на публику, дак никто буквально не узнал. А узнали, дак не поверили. Он явился, как написаной, бравой, толстой, красной, очень завлекательной. Царевна одночасно экого кавалера залюбила. До того всё козой глядела, а тут приветлива сделалась, говорунья. Свадьба была — семь дён табуном плясали, лапишшами хлопали, пока в нижней этаж не провалились, дак ишо там заканчивали.

А Пронькин американин, приехавши на родину, не избежал некоторой неприятности. Американска власть на его заобиделась, что пятнадцать лет в России потратил, эдаки деньги на вшивого мужичонка сбросал.

— Неужели,— власть говорит,— ты за эстолько лет не мог его соблазнить хоть раз сопли утереть?

Тогда достойной субъект показал им пятнадцать научных изданных томов насчёт Проньки. Тоже открыто спросил:

— Разве вы не в курсе, что две особы императорской фамилии вышли замуж за американов и принели американску веру?

Власти говорят:

— Это мы в курсе. Вот этот случай — велика честь. Америка гордицца теми двумя молодцами.

— Дак эти два молодца мои родны братья. Кабы не я да мой Пронька, им царских-то дочек не понюхать бы!

Публика закричала «ура», тем и кончилось.

СКАЗКИ О ШИШЕ

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ



Дом был, стоял добрым порядком и на гладком месте, как на бороне.

В дому отец жил с сыновьями.

Старших и врать не знай, как звали, а младшего всё Шишом ругали.

Время ведь как птица: летит — его не остановишь. Вот Шиш и вырос. Братья — мужики степенные, а он весь — как саврас без узды. Такой был Шиш: на лбу хохол рыжий, глаза как у кошки. Один глаз голубой, другой как смородина. Нос кверху. Начнёт говорить, как по дороге поедет: слово скажет — другое готово.

А ловок был — в рот заедет да поворотится.

Рано Шиш начал шуточки зашучивать. У них около деревни, в лесу, барин с барыней землю купили. Домок построили, садик развели. До людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласье, всем на удивленье. Оба маленькие, толстые, как пузыри. По вечерам денежки считали, а днём гуляли, сады свои караулили, чтобы прохожие веточки не сорвали или травки не истоптали. У деревенских ребят уши не заживали всё лето — старички походя дрались, а уж друг с другом одни нежности да любезности.

Шиш на них давно немилым оком смотрел:

— Ужо я вам улью щей на ложку!

И случай привёлся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни за грибами. Ползала, ширилась да и заблудилась.

И заревела:

— О-о! Волки съедят!

Шиш около шнырял:

— Бабушка, кто тебя?

— У-у, заблудилась!

— Откуда ты?

— Из Горелова.

— Знаю. Выведу тебя, только ты мне сослужи службу...

Шиш и привёл её к барской усадёбке:

— Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой?

— Ну, не слепая, вижу.

— Ты постучи в окно. Барин нос выставит, ты тыпни по плечи да скажи: «На! Барыне оставь!»

— Как же это я благородного господина задену? Они меня собаками затравят!

— Что ты! Они собак не держат, сами лают.

— Ну, что делать, не ночевать в лесу...

Побежала старуха к дому, стукнула в раму:

— Барин, отворьте окошко!

Толстяк высунулся, кряхтит:

— Кто там?

Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась да как дёрнет его по плечи:

— На! Барыне оставь!

А сама от окна — и ходу задала.

Ну, её Шиш на Русь вывел.

Этот баринок окошко захлопнул, скребёт затылок, а барыня уж с перины сыпалась:

— Тебе что дали?

— Как — что дали?..

— Я слышала, сказали: «На, барыне оставь».

— Ничего мне не дали!

— Как это ничего? Давай, что получил.

— Плюху я получил.

— Плюшечку? Какую? Мяконьку?

— Вот какую!

И началась тут драка.
Только перья летят.
Вот что Шиш натворил.

ДОХОД НЕ ЖИВЁТ БЕЗ ХЛОПОТ



Вот отец пристарел. Братья волю взяли, дом на себя и скот на себя отобрали. Отцу говорят:

— При твоём худом здоровье первое дело — свежий воздух. Ты теперь ночуй в сарае, а день гуляй по миру. Под одним окошечком выпросишь, под другим съешь.

А Шишу дали коровку ростом с кошку, удоя с ложку:

— Вот тебе, братец, наделок¹. И вообще — люби нас, ходи мимо.

Отец сидит на крыльце, не смеет в избу зайти. У Шиша в сердце как нож повернулся. Он отца в охапку:

— Тятенька, давай заодно жить! Есть — пополам, и нет — пополам. А братцам дорогим я отсмею насмешку, припасу потешку! Тятенька, ты меня дожидайся, а я пойду эту коровёнку продавать.

Шиш лесом идёт, а дело к вечеру. И гроза собралась, близко громынуло. На ночь мокнуть неохота, Шиш и сунулся в боковую тропиночку, в дебрь, где бы лесину, сль погуще найти. Он в лесу не боится. Шагов сотню ступил — в ельнике дом стоит. Еле доколотился.

Старуха открыла:

— О, куда ты, парень, попал! Уваливай, пока жив!

¹ Наделок — здесь: доля, часть наследства.

— Бабинька, пусти, где коровке хоть перестоять грозу.

— Дитятко, уходи: разбоем хозяева-то живут.

А к воротам ещё двое бегут. Шиш сразу узнал — два богатея из соседнего села. Кричат:

— Эй, бабка, где тут дождь переждать?

Что будешь делать! Старуха и спрятала всех в подполье:

— Только уж чтобы ни кашлянуть, ни дохнуть, ни слова не сказать, как хозяева придут. Убьют и меня с вами.

Под полом Шиш их спрашивает, будто не знает:

— Вы чьи? Куда?

Те не смотрят на него:

— Со всяким сбродом не разговариваем!

Тут над головой затопали, заходили... Разбойники приехали.

Там у них питьё пошло, еда. Напились пьяны, песню запели: «Не шуми, мати-дубравушка...»

Тут Шиша как шилом подняло:

— Ах, люблю! Даже до слёз! Запою и я с ними...

Купцы его в охапку:

— С ума тебя скинуло, собаку?

— Заткни глотку! Убьют!

— Ох, не осудите меня! Я певец природный. Запою!..

— Молодой человек, не сгубите! Возьмите деньгами!

По десятке дадим!

— А уж по сотне не дадите?

— Подавись сиротским! На!

Шиш деньги убрал в карман, сел в уголок, будто спит.

Не успели купцы кисеты завязать, наверху плясовую грянули — «барыню».

Ух, барыня не могу!
Комар ступил на ногу...

Шиш к купцам:



«Доход не живет без хлопот»



«Братанна»

— Рабы божьи, теперь не вытерплю! Я на то родился, чтобы плясать. Ух!..

Ходи, хата, ходи, хата!
Ходи, курица хохлата!..

Купцы у него на ногах повисли:

— Возьми что хошь, пожалей не нас — сироток наших! Благодетель, не погуби!

— Так уж, чтоб вам не обидно, ещё по сотне с человека.

Вот у Шиша четыреста рублей, да всё золотыми.

А наверху-то и учуяли, что под полом неладно. Дрогнули разбойники:

— О, согрешили, грешники! Бесы в доме завелись! Не будет боле удачи...

Старуха слышит — на ней каждый трепок трясётся:

— Я, хозяйева, бесов-то выживать туда человека запустила...

— Какой человек?

Шиш это услышал, он всех смелее, и лезет из подполья.

Разбойники к нему:

— Ну что? Благополучно ли? Всех ли бесов-то выжил?

Шиш и смекнул:

— Пятерых выжил, двое остались больших. Те там подпольем ушли, этих надо избой выпускать...

— Молодец, выведи напасть! Отблагодарим тебя.

— Не стоит благодарности. Давайте кудельки да огонька. Сами зайдите за печь, чтобы, как полетят, вас не задело.

Сам Шиш спустился под пол.

— Ну, купцы, я с вас взял по два ста, а разбойники вас найдут и душу вынут. И за ваши деньги я вас отблагодарю.

Вот Шиш обоих купцов куделей замотал по одежде:

— Как я вас подожду, вы и летите избой да на улицу.

Чиркнул спичкой, вспыхнула куделя. Взвились купцы по лесенке, да в избу, да в сени, да на улицу. А там после грозы лужа. Они в эту лужу. Даже одежда не заплела. Да скорее в лес, да домой.

А разбойники не скоро в себя пришли:

— О, молодой человек! И не видели мы на веку такого страху...

— О, коль страшно у бесов огненно-то видение! О, погубили мы свои душеньки, уготовали себе вечный огонь!..

— Руку даю, что эти черти боле к вам не прилетят, не досадят.

— Тебя как благодарить-то?

— Да вот строиться собрался...

— Держи сотенную. За такую услугу сто рублей — плёвое дело.

А коровку Шиш старухе ихней подарил.

Шиш домой пришёл. Деньги на стол, считать начал. Сбился, опять снова. Братья около, рот раскрыли, стоят...

— Шиш, откуда таково богатство?

— А прихожу на рынок, а у меня коровёнку из рук рвут. Пять сот за шкурёнку дали.

Братья в хлев. От жадности трясутся. Коров колют и шкуры с них дерут. Запрягли пару коней да в город с кожами. Стояли-стояли в кожевенном ряду... Кто-то подошёл:

— Почём шкура?

— Сто... нет, триста... пятьсот рублей!

Покупатель глаза выпучил да бегом от них.

Народ собрался, пальцами кажут:

— Глядите-ко, безумные приехали. За коровью шкуру сотни просят...

Вернулись братья домой да на Шиша с кулаками.

— Обманыва-а-ать?!

— Да что с вами? Что?

— Дак ведь нас весь рынок дураками почтил!

- Да вы в каком ряду стояли?
- Как в каком? В кожевенном!
- А я в галантерейном.

Братья на другой день в галантерейном стояли. Публика ходит чистая. Барыни братьев ругают, городовые их гонят.

Один кто-то спросил опять:

- Да почём шкура-то?
- А вот третьего дня за маленькую шкурёнку пятьсот давали, да у нас неужели дешевле?

Тут уж их в шею натолкали. До самой заставы с присвистом гнали. Кричат мальчишки:

- Самашеччих везут! Самашеччих везут!
- Прякатили братья домой, кони в мыле.
- Подать сюда злодея, всегубителя, разорителя!..

Не успел Шиш увернуться. Бочка во дворе стояла. Шиша в ней заколотили, да с берега в реку и ухнули. Пронесло бочку с версту да к берегу и прикачало.

Шиш и слышит, что по берегу кто-то с колокольчиком едет. Шиш и заревел:

- О-о-о! Ни читать, ни писать, ни слова сказать, а в начальники ставят!

А с колокольцем-то ехал становой с бедной деревни подати выколачивать. Он с тройки да под угор:

- Я знаю читать, и писать, и слово сказать! Я в начальники годен. Кто здесь?

— Я! В бочке сижу.

Становой дно вышиб. Шиш вылез.

- В начальники силом ставят, а я бы другому уступил.

— Возьми отступного. Я в начальники горазд.

— А давай меняться. Вы в бочку залезете — в начальники вас направят на мою должность, а я ваших лошадок с кибиточкой — себе.

— Согласен. Хлебна ли должность та?

— Обзолотиться можно.

— Заколачивай скорее. Жив-во!

Забил днище Шиш да как пнёт бочку ту! Ух, она в воду полетела, поплыла...

А Шиш домой на тройке подкатил.

Братья под кровати лезут:

— У-у, утопленничек, не ешь нас!

— Что вы, дикие! Глядите-ко, мне там каких лошадок выдали!

— Где выдали-то?

— Куда меня спихнули, там.

Братья коней гладят. От зависти руки трясутся.

— Шишанушка! У нас вон бочка порожняя...

— Ну, порожняя, вижу.

— Мы бы в бочку ту... да в речку ту... Не откажись. Тоже хоть по конику бы!

— Дак что ж, можно. Неужели для братьев единопутробных пожалею?

О, сколь тяжело было бочку ту катить! А те там сидят — торопят:

— Кати круче! Всех хороших-то упустим.

Опять с горы как дунет их Шиш...

Поехали братцы вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью. Выплеснуло их в Нижнем, у ярмарки. Лавку там себе поставили. В домашнюю сторону и смотреть перестали.

А Шиш с отцом зажил. Он до отца хороший стал, ласковый. Отец его залюбил.

ШИШ И ТРАКТИРЩИЦА



По свету гуляючи, забрёл Шиш в трактир, пообедать, а трактирщица такая вредная была — видит, человек бедно одет, и отказала:

— Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да вода.

Шиш тому рад:

— Ну хлебца подайте с водичкой.

Сидит Шиш, корочку в воде помакивает да посасывает. А у хозяйки в печи на сковороде гусь был жареный. И сдумала толстуха посмеяться над голодным прохожим.

— Ты,— говорит,— молодой человек, везде, чай, бывал, много народу видал, не захаживал ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не знавал ли господина Гусева-Жареного?

Шиш смекнул, в чём дело, и говорит:

— Вот доем корочку, тотчас вспомню.

В это время кто-то на хорошем коне приворотил к трактиру.

Хозяйка выскочила на крыльцо, а Шиш к печке. Открыл заслонку, сдёрнул гуся со сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковороду лапоть и ждёт...

Хозяйка заходит в избу с проезжающим и снова трунит над Шншом:

— Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?

Шиш отвечает:

— Знавал, хозяйюшка. Только он теперь не в Печном уезде, село Сковородкино живёт, а в Сумкино-Заплетное переехал.

Вскинул Шиш сумку за плечо и убежал с гусем.

Трактирщица говорит гостю:

— Вот дурак мужик! Я ему про гуся загадала, а он ничего-то не понял... Проходите, сударь, за стол. Для благородного гостя у меня жаркое найдётся.

Полезла в печь, а на сковороде-то лапоть!

ШИШ ПОКАЗЫВАЕТ БАРИНУ НУЖДУ



Зима была лютая. Выскочил Шиш однажды на улицу, выдернул жердь из огорода и стал рубить. А мимо проезжают барин с барыней на тройке:

— Эй, мужик! Зачем забор на дрова рубишь?

— Не я рублю — нужда рубит!

— Что значит нужда?

— Неужто нужды не видали?

— А она что, где?

— Где? В чистом поле, под горкой.

— Мы желаем посмотреть. Проводи нас туда заместо прогулки.

Люди бы за ум, а Шиш за дело.

Уселся в господские сани и поехал в чисто поле.

Ехал, ехал, дале надоело.

— Дальше конями не проедешь. Ежели угодно, полем пройдитесь пешком. Нужда — она вон где: вправо, четвёрта горочка слева, куда галка полетела...

Господа из саней вылезают:

— Эй, мужик, мы прогуляемся туда, а ты покарауль тройку.

— Пожалста.

Вот и полезли барин с барыней по снегу. К горке подойдут, другú завидят, эту осмострят, вдали четвёрта блáзнит¹. А нужды этой, кабыть, не сидит нигде...

Ну, они бродят, а Шиш своё дело правит. Тройку выпряг, на коренника сел да с конями в свою деревню ускакал. Сани в поле на дороге покинул.

А барин с барыней бродят по колено в снегу да по

¹ Б л а з н и т ь — мерещиться, казаться.

пояс ныряют. Умаялись, упухались. К вечеру еле-еле по старым своим следам на дорогу к саням выгреблись.

Сани-то на месте, а лошадей нет.

И поругались, и поплакали... Вот где нужда-то!

Барин говорит:

— Придётся вот что: ты за одну оглоблю возьмись, я за другую. Так и повезём сани!

Барыня не слушает:

— Ни за какую оглоблю я братья не намерена! Хочешь, так впрягайся, а я, в крайнем случае, сбоку, впристяжку.

Делать нечего, впрягся барин в корень, а барыня впристяжку. Поволокли сани. Подвезут да отдохнут, подъедут да посидят.

Заблудились в великих снегах.

Очень хорошо они теперь нужду узнали!

РИФМЫ



иш по своим делам в город пошёл. Дело было летом, жарко. Впереди едет дяденька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому дядьке:

— Здравствуйте, Какой-то Какойтович!

Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отчеству. Он и кричит Шишу:

— Здравствуйте, молодой человек!

А Шиш опять:

— Как супруга ваша поживает, как деточки?

Дядька говорит:

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, подвезу вас.

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда молчит, когда спит.

Он говорит:

— Дяденька, давайте играть в рифмы.

— Это что такое — рифмы?

— А давайте так говорить, чтоб складно было.

— Давай.

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали?

— Моего папашу звали Кузьма.

Шиш говорит:

Я твоего Кузьму
За бороду возьму!

Дядька говорит:

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?

Шиш говорит:

— Это, дяденька, для рифмы. Скажи, как твоего дедушку звали.

— Моего дедушку звали Иван.

Шиш говорит:

Твой дедушка Иван
Посадил кошку в карман.
Кошка плачет и рыдает,
Твооо дедушку ругает.

Дядька разгорячился:

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки прибираешь?

— Это, дяденька, для рифмы.

— Я вот тебе скажу рифму: тебя как зовут?

— Меня зовут... Федя.

Дядька говорит:

Если ты Федя,
То поймай в лесу медведя,
На медведе поезжай,
А с моей лошади слезай!

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан.

Дядька говорит:

Если ты Степан,
Садись на аэроплан.
На аэроплане и летай,
А с моей лошади слезай!

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Степан, а... Силантий.

Дяденька говорит:

Если ты Силантий,
То с моей лошади слезантий!

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий».

— Хотя и нет, всё равно слезай!

Шишу и пришлось слезать с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везёт на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков.

ШИШ-СКАЗОЧНИК



ог вы сказки любите, а Шишу однажды из-за сказок беда пришла. Дело было к осени, время к ночи, и дождь идёт. По дороге деревня. Надо где-то переночевать. Шиш в один дом постучался — не открывают. В другой дом поколотился — не пускают. Шиш в третью избу стучится:

— Пустите ночь переночеваты!

Хозяин говорит:

— А ты сказки сказывать мастер?

Шиш говорит:

— Слышал маленько.

Хозяин говорит:

— Маленько нам ни к чему. А если разговору на всю ночь хватит, тогда заходи. А нет — до свидания.

Шишу деваться некуда. Зашёл в избу. Хозяин постелился на лавке, хозяйка залезла на печку, работник ихний на полу. А Шишу, извольте радоваться, поставили среди избы стул — сиди рассказывай всю ночь...

Мы бы с вами загоревали, а Шиш деловой человек. Он говорит:

— Ладно, буду сказывать всю ночь, только под таким условием: кто меня хоть одним словом перебьёт, тому и сказку дальше говорить. Согласны?

Все ответили:

— Согласны, согласны!

Шиш начал:

— Как у вас на селе мужики поголовно все дураки... Как у вас на селе мужики поголовно все дураки...

Говорил, говорил — раз двести это слово повторил. Хозяин терпел-терпел, далее разгорячился:

— Невежа ты, невежа! Я тебя ночевать пустил, а ты нас дураками называешь!

Шиш говорит:

— Хозяин, ты меня перебил, тебе и сказку дальше говорить.

Хозяин начал сказку:

— Чур, не перебивать... Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу... Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу...

Говорил, говорил — раз двести эту речь повторил. Хозяйка на печи разбудилась, заругалась:

— Беда с вашими сказками! Ночью покою нету...

Хозяин за жену сграбился:

— Ты меня перебила, тебе и сказку говорить.

Не могла старуха отдуться, сказку заговорила:

— Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил... Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил...

Говорила, говорила — раз сотню это слово повторила.

Работник на полу разбудился, забранился:

— День на вас работай, и ночью от вас покою нету!...

Хозяйка на него мухой пала:

— Ты меня перебил, тебе и сказку говорить.

Работник сказку заговорил:

— Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти... Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти...

До рассвета работник это слово говорил.

Шиш заметил, что в оконцах утро синеет, светло стало, схватил шапку да бегом из этого дома.

ТИЛИ-ТИЛИ



Какой-то день прибежали к Шишу из волости:

— Ступай скорее. Негрянин ли, галанец приехал, тебе велено при их состоять.

Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-русски, путешествует по уезду, записывает народные обычаи, и Шишу надо его сопровождать. На Шише у всех клином свет сошёлся.

Отправились по деревням. Мистер открыл тетрадку:

— Говорите теперь однажды!

Шиш крикнул:

— Наш первый обычай: ежели двоим по дороге и коняшку нанять жадничают, дак всё одно пеши не идут, а везут друг друга попеременно.

Мистер говорит:

— Ол райт! Во-первых, будете лошадка вы. Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».

— У нас не по часам, у нас по песням. Вы сядете на меня и запоёте. Доколь поёте, я вас везу. Кончили — я на вас еду, своё играю.

Стал Шишанушко на карачки. Забрался на него мистер верхом, заверещал на своём языке песню: «Длинен путь до Типперери...» Едут. Как бедной Шиш не сломался. Седок-от поперёк шире. Долго рывкал. Шиш из-под него мокрѣхонек вывернулся. Теперь он порхнул мистери на загривок.

— Эй, вали, кургузка, недалеко до Курска, семь вёрст проехали, семьсот осталось!

Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш запел:

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..

.

Мистер и полчаса гребёт, а Шишанко всё нежным голосом:

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..

.

У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит... На конце прохрипел:

— Вы будете иметь окончание однажды?

Шиш в ответ:

— Да ведь песни-то наши... протяжны, проголосны, задуховны!

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..

.

Бедный мистер потопал ещё четверть часика да и повалился — где рука, где нога:

— Ваши тили-тили меня с ног свалили!

И ПОЯТ, И КОРМЯТ, И СПИНУ ПОРЮТ



Б ыло в те же годы, как Шиш с отцом заводились жить. Пришёл наш приятель со своим деревённым соседом с Иваном Меркуловым в дальнее село. Шиш полетел по знакомым, а Иван Меркулович направился к лавкам. Вдруг из богатого дома выскочил человек и потащил Меркулова к себе в гости. Этот человек был любитель драться, терпеть не мог без драки. Посадил гостя за стол и кричит:

— Жена, подавай на стол! Носи перемены!

Меркулов руками замахал:

— Зачем вы беспокоитесь? Не надо! Я сыт!

А хозяин подскочил, дал ему оплеуху да и другую. Говорит:

— В чужом доме хозяина слушай!

Стали хлеб рушить. Гору ломтей наворотили. Меркулов не стерпел:

— Господи! И куда столько хлеба?!

Хозяин бросил нож да опять гостя со стороны на сторону тятать:

— Не указывай в чужом доме! Вот тебе!! Вот тебе!!

Иван Меркулов не рад этой гостьбе: за каждое слово трёпка. За шапку взялся.

— Я, хозяин, домой, нагостился у вас.

— Нагостился? Не нравится? Худо тебе? Так вот тебе! Вот тебе!!

В эту пору откуда ни возьмись — Шиш. Хозяин бросил Меркулова да к нему:

— Милости просим, милости просим! Проходите!

Ему охота и этого прибить.

Шиш говорит:

— Извените, я без приглашения.

— Очень рад! Пожалуйста за стол! Жена, носи перемены! Кушайте, гость дорогой!

А сам думает: «Сейчас начнёт церемониться, отказываться, тут я его возьму в работу. Давно так руки не чесались».

Подают блюдо за блюдом, а Шиш ест, не перечит. Сколько ни таскали на стол печёного и варёного, Шиш всё обработал. Хозяин в затылке скоблит:

— Ладно, я тебя иначе пройму.

Принёс свою новую суконную тройку:

— Скидывай своё, надевай моё!

Шиш кроток, Шиш безответен. Нарядился — брюки клёш, жилет и пиджак. У хозяина губы дрожат. Весь прилетался — то Шишу сунет, другое пихнёт:

— Погоди, я тебя... Ты у меня... Отопрёшься, откажешься наконец!

А Шиш смотрит так мило и всё принимает. Вот хозяин на двор вылетел, коня оседлал, узду с серебром наложил, говорит:

— У вас дома навеку хорошей лошади не бывало. Бери моего коня!.. А может не надо?!

Шиш сел на коня.

— Покорно благодарю. Отчего же не надо...

Хозяин в сердцах вытянул коня ремёнкой.

— Ну, поезжай!!!

Шиш рысью из двора на дорогу да и закричал:

— Прощай, хозяин! Спасибо на угощеньи, на дорогих подарках! Не чёрт тебя пихал, сам попал!!!

Хозяин так и остался стоять среди дороги, рот разинул.

КУРИЧЬЯ СЛЕПОТА



едалеко от Шишова дома деревня была. И была у богатого мужика девка. Из-за куриной слепоты вечерами ничего не видела. Как сумерки, так на печь, а замуж надо. Нарядится, у окна сидит, рожу продаёт.

Шиш сдумал над ней подшутить.

Как-то, уж снежок выпал, девка вышла на крыльцо.

Шиш к ней:

— Желаннушка, здравствуй.

Та закланялась, запохохатывала.

— Красавушка, ты за меня замуж не идёшь ли?

— Гы-гы. Иду.

— Я, как стемнеет, приеду за тобой. Ты никому не рассказывай смотри.

Вечером девка услышала — полоз скрипнул, ссыпалась с печки. В сенях навертела на себя одёжи — да к Шишу в сани.

Никто не видал.

Шиш конька стегнул — и давай крутить вокруг девкиного же дома.

Она думает — ух, далеко уехала!

А Шиш подъехал к её же крыльцу:

— Вылезай, виноградинка, приехали. Заходи в избу.

— Да я не знай, как к вам затти-то. Вечером так себе вижу.

— У нас всё как у вас. И крыльцо тако, и сени... Заходи — да на печь, а я коня обряжу.

Невеста с коня, а Шиш дёрнул вожжами — да домой.

А девка на крыльцо, в сени, к печи... На! — всё как дома.

Сидит на печи. Рада, ухмыляется. Только думает: «Что же мужня-то родня? По избе ходят, говорят, а со мной не здороваются...»

Домашние на неё тоже поглядывают:

— Что у нас девка-то сегодня, как именинница?..

А она и спать захотела. Давай зевать во весь рот:

— Хх-ай да бай! Хх-ай да бай! Вы что молчите? Я за вашего-то парня замуж вышла, а вы, дики, ничего и не знаете?!

Отец и рот раскрыл.

— Говорил я тебе, старуха,— купи девке крест, а то привяжется к ней бес!..

ШИШ ПОШУЧИВАЕТ У ЦАРЯ



сех Шишовых дел в неделю не пересказать.

Про Шиша говорить — голова заболит. Про Шиша уж и собаки лают. Здесь я от большого мало возьму, от многа немножко расскажу.

Ходил Шиш, сапоги топтал, вёрсты мерял. Надоело по деревням шляться. В город справил. Чья слава лежит, а Шишова впереди бежит. Где Шиш, там народу табун.

Это увидал из окна амператор:

— Что за народ скопивши?

— Это парнишка один публику утешает-с.

— Не Шиш ли?

— Так точно-с.

— Позвать сюда!

Шиша привели. Царь сразу над ним начал сгог-
тывать;

— Ты в татку ле в матку, в кого ты экой? Сшути-ко мне шутку позазвонисте. Выкради из-под меня да из-под моей супруги перину. Выполнишь задание — произведу тебя в жандармерию, и твой патрет во все газеты. Сплошаешь — в Сибири сгною!..

Только Шиш за двери — амператор своим караульщикам ружья выдал:

— Мы с Шишом Московским об заклад побились. Перину из-под меня придёт воровать. Спальню нашу караульте день и ночь!

Шиш выбрал ночку потемнее и в щель дворцового забора стал охрану высматривать. Видит — дремлют под спальными окнами, вора ждут. Людей бы на ум, а Шиша на дело.

Он дунул на огороды, выдернул с гряды пугало, опять к тому же забору примостился, вызнял пугало кверху — и ну натряхивать...

Это караульщики и увидали:

— Ребята, не робей! Вор пришёл! Через тын лезет...

— Рота-а, пли!!!

Шиш того сразу пугало удёрнул. Будто убили.

А стража радёхонька:

— Ну, ребята, мёртвое тело оттуль завтра уберём. А теперь на боковую. Боле некого ждать.

Только они восвояси утянулись, Шиш через забор да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке тесто подымается, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном.

Царь с царицей на перине почивают. Царь истолста храпит, царица тихонько носом выводит...

Шиш на пёрстышках подкрался да как ухнет им опару ту под бок...

Сам с подоконника и в кусты...

Вот царица прохватилаь:

— О-о, тошнёхонько! Вставай-ка ты, омморок!.. Эво как обделался! Меня-то всю умарал!

— Нет, гангрена! Это ты настряпала!..

До третьих петухов содомили. Тут царица одумалась:

— Давай лучше выкинем перину-то на подоконник, на ветерок, а сами соснём ещё часиков восемь.

Только они музыку свою завели — захрапели, Шиш перину в охапку да со двора. На извозчика да домой.

Навстречу бабы-молочницы:

— Шиш, куда полетел?

— У нас дома не здорово! Таракан с печи свалился.

Царица рано вскочила:

— Что я, одичала — сплю! Министры перину увидят — по всей империи ославят...

На!!! Где перина-та???

Фрелины Машки, Дашки забегали, заискали.

Царя разбудили... Его и горе берёт и смех долит.

— Полковник! Запрягай коня, скачи к Шишу. Он меня в дураках оставил... Ох, в землю бы я лёг да укрывлся!..

Полковник на добра коня да пулей в деревню, к Шишову дому. Не поспел наш Шишанушко увернуться. Начальство на дворе.

Людей бы на ум, а Шиша на дело. Он в клеть, достал бабкин наряд, сарафан, жемчужну повязку, ленты, накрутился и — в горницы. Полковник там. Видит — девица заходит, личиком бела и с очей весела.

Шпорами брякнул:

— Вы... видно, сестра?

— Да... сестра Шишова...

Забыл полковник, зачем приехал. Около этой сестры похаживает, похохатывает. Шиш думает — пронеси бог тучу мороком...

— Вы бы по лесу его, прохвоста, искали...

— Хе-хе-хе! Мне и тут приятно-с!

Шиш бутылку откупорил: «Напётся пьян — убежу...»

А тот охмелел, хуже стал припадать:

— Желаю с вами немедленно законным браком.

О, куда от этого жениха деться?..

На шаг не отпускает. Сиди рядом. Стеннело.

Полковник велит постель стлать. Попал гвоздь под молот. Над другими Шиш шуточки шутит, а над собой их не любит.

Только у Шиша увёрток — что в лесу повёрток. Он давай руками сарафан ухлapyвать.

— О, живот схватило! О, беда! На минутку выпустите меня...

— Убежишь?

— Что вы, у нас рядом! Вы даже для верности подол в дверях зажмите.

Полковник выпустил эту невесту в сени, а подолёшко в притвор. Сидит ждёт.

Шиш того разу из сарафана вывернулся да вместо себя козу и впряг в эти наряды. Сам шубёнку, шапку на голову, котомку в руки — да и... поминай как звали.

Полковник слышит — коза у дверей топчется, думает — невеста:

— Милочка, ты что долго?

— Б-э-э-э!

...Двери размахнул, а в избу коза в сарафане. Полковник через неё кубарем, да на коня, да в город. Потом год на тёплых водах от родимца лечился.

ШТИ



дна Шишова любушка крепко его к другой ревновала. Бранить не бранила, а однажды с горя шуточку придумала.

Поставила ему шти с огня, кипячие.

Да забылась, хлебнула поварёнку на пробу и рот обварила.

Не стерпела — заревела.

Шиш дивится:

— Ты чего? Обожглась?

А эта баба крепка была:

— Не обожглась, а эдаки шти маменька-покоенка любила.

Как сварю, так и плачу...

А Шишу в путь пора. Ложку полную хватил и... затряс руками, из глаз слёзы побежали.

Ехидна подружка будто не понимает:

— Что ты, желанный? Неуж заварился?

— Нет, не заварился, а как подумаю, что у такой хорошей женщины, как твоя была маменька, така дочка подла, как ты, дак слёзы ручьём!



БЫЛИНЫ

ОБ АВДОТЬЕ РЯЗАНОЧКЕ



ачинается доброе слово
Про Авдотью-жёнку, Рязанку.

Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистали.
Деялось¹ в стародавние годы.
Не от ветра плачет сине море,
Русская земля застонала.
Подымался царище татарский
Со своею Синею ордою,
С пожарами, со смертями.
Города у нас на дым пускает,
Пепел конским хвостом разметает,
Мёртвой головой по земле катит.
И Русь с Ордой соступилась²,
И были великие сечи...
Кровавые реки пролилися,
Слёзные ручьи протекали.
Увы тебе, стольный Киев!

¹ Деялось — происходило.

² Соступилась — сошлась.

Увы, Москва со Рязанью!
В старой Рязани плач с рыданьем:
Носятся страшные вести.
И по тем вестям рязанцы успевают,
Город Рязань оберегают:
По стенам ставят крепкие караулы,
В наугольные башни — дозоры.

Тут приходит пора-кошени́на¹.
Житьё-то бытьё править надо.
Стрелецкий голова² с женою толкует,
Жену Авдотью по сено сряжает:
— Охти мне, Дунюшка-голубка,
Одной тебе косить приведётся,
Не съездить тебе в три недели,
А мне нельзя от острога отлучиться,
Ни брата твоего отпустить с тобою,
Чтобы город Рязань не обезлюдить.

И Авдотья в путь собралася,
В лодочку-ветлянку³ погрузилась.
Прощается с мужем, с братом,
Милого сына обнимает:
— Миленький мой голубочек,
Сизенький мой соколик,
Нельзя мне взять тебя с собою:
У меня работа будет денно-нощна,
Я на дело еду скороспешно.

После этого быванья
Уплыла Авдотья Рязанка
За три леса тёмных,
За три поля великих.

¹ Пора-кошени́на — время сенокоса.

² Стрелецкий голова — начальник отряда стрельцов, охраняющих город или крепость.

³ Ветлянка — лодка, прошитая корнями ветлы — ивы. Такое крепление прочнее железного.

Сказывать легко и скоро,
Дело править трудно и долго.
Сколько Авдотья сено ставит,
Умом-то плавает дома:
«Охти мне, мои светы,
Всё ли у вас по-здорову?»

А дни, как гуси, пролетают,
Тёмные ночи проходят.
Было в грозную ночку —
От сна Авдотья прохватила,
В родимую сторонку взглянула:
Над стороной над Рязанской
Трепещут пожарные зори...
Тут Авдотья испугалась:
— Охти мне, мои светы!
Не наша ли улица сгорела? —
А ведь сена бросить не посмела:
Сухое-то кучами сгребала,
Сучьём суковатым пригнетала,
Чтобы ветры-погоды не задели.
День да ночь работу хватала,
Не спала, не пила, не ела.
Тогда в лодчонку упала,
День да ночь гребла, не отдыхала,
Весла из рук не выпускала.
Сама себе говорила:
— Не дрожите, белые руки,
Не спешите, горячие слёзы! —
Как рукам не трястися,
Как слезам горячим не литься?
Несёт река головни горелы,
Плывут человеческие трупы.
На горах-то нет города Рязани,
Нету улиц широких,
Нету домовного порядка.
Дымом горы повиты,

Пеплом дороги покрыты.
И на пеплышко Авдотья выбредала.

Среди городского пещелища
Сидят три старые бабы,
По мёртвым кричат да воют,
Клянут с горя небо и землю.
Увидели старухи Авдотью:
— Горе нам, жёнка Авдотья!
Были немилые гости,
Приходил царище татарский
Со своею Синею ордою,
Наливал нам горькую чашу.
Страшен был день тот и грозен.
Стрелы дождём шумели,
Гремели долгомерные копыя.
Крепко бились рязанцы,
А татар не могли отбити,
Города Рязани отстояти.
Убитых река уносила,
Живых Орда уводила.
Увы тебе, жёнка Авдотья,
Увы, горегорькая кукуша!
Твоё тёплое гнёздышко погибло,
Домишечко твоё раскатилось,
По камешку печь развалилась.
Твоего-то мужа и брата,
Твоего-то милого сына
В полон увели татары!
И в те поры Авдотья Рязанка
Зачала лицо своё бити,
Плачем лицо умывати,
Она три дня по пеплышку ходила,
Страшно, ужасно голосом водила,
В ладони Авдотьюшка плескала,
Мужа и брата кричала,
О сыне рыдала неутешно.

Выплакала все свои слёзы,
Высказала все причитанья.

И после этого быванья
Вздумала крепкую думу:
— Я пойду вслед Орды, вслед татарской.
Пойду по костям по горелым,
По дорогам пойду разорённым.
Дойду до Орды до проклятой,
Найду и мужа и брата,
Найду своего милого сына!

Говорят Авдотьё старухи:
— В Орде тебе голову отымут,
Кнутом тебе перебьют спину.
— Двум смертям не бывать,
А одной никому не миновати! —
И пошла Авдотья с Рязани:
Держанный на плечах зипунишко,
На ногах поношены обутки.
И помёнок¹ добыла своим светам:
Пояса три да три рубахи.
— Найду их живых или мёртвых,
В чистые рубахи приодену.

Шла Авдотья с Рязани,
Суковатой клюкой подпиралась.
Шла она красное лето,
Брела она в грязную осень,
Подвигалась по снегу, по морозу.
Дожди её насекают²,
Зимние погоды заносят.
Страшно дремучими лесами:
В лесах ни пути, ни дороги,
Тошно о лёд убиваться,

¹ Помёнок — памятный подарок.

² Н а с е к а ю т — секут, стегают.

По голому льду подаваться.
Шла Авдотья с Рязани.
Шла к заре подвосточной,
Шла в полудённые страны,
Откуда солнце восходит,
Смену несла своим светам:
Три пояска да три рубахи.
Шла, дитя называла,
Мужа и брата поминала.
Только тогда их забывала,
Когда крепким сном засыпала.
Шла Авдотья близко году,
Ела гнилую колоду,
Пила болотную воду.
До песчаного моря доходила.
Идут песчаные реки,
Валится горячее каменьё,
Не видать ни зверя, ни птицы;
Только лежат кости мёртвых,
Радуются вечному покою.
В тлящих полуденных ветрах,
В лютых ночных морозах
Отнимаются руки и ноги,
Уста запекаются кровью.

И после этого быванья
Веют тихие ветры.
Весна красна благоухает,
Земля цветами расцветает.
Жёночка Авдотья Рязанка
На высокую гору восходит,
Берега небывалые видит:
Видит синее широкое море,
А у моря Орда кочевала.
За синими кудрявыми дымами
Скачут кони табунами,

Ходят мурзы-татарё¹,
Ладят свои таборы-улусы².
Тут-то Авдотью увидали,
Брассыпную от неё побежали:
— Алай-булай, яга-баба!
— Алай-булай, привиденье!—
Голосно Авдотья завопила:
— Не бегайте, мурзы-татарё!
Человек я русского роду.
Иду в Орду больше году,
Чтобы вашего царя видеть очи.—
И в ту пору, и в то время
Авдотью к царицу подводят.
Блестят шатры золотые,
Стоят мурзы на карачках
Виньгают в трубы и в набаты,
Жалостно в роги играют,
Своего царища потешают.

Сидит царище татарский
На трёх перинах пуховых,
На трёх подушках парчовых.
Брови у царища совины,
Глаза у него ястребины.
Усмотрел Авдотью Рязанку,
Заговорил царище, забаял:
— Человек ты или привиденье?
По обличью ты русского роду.
Ты одна-то как сюда попала?
Ты не рыбою ли реки проплывала,
Не птицей ли горы пролетала?
Какое тебе до меня дело?—
И жёнка Авдотья Рязанка
Его страшного лица не убоялась:
— Ты гой еси, царище татарский,

¹ Мурзы — так называли русские татарских военачальников,

² Улусы — кочевые стойбища татар.

Человек я русского роду,
Шла к тебе больше году,
Сквозь дремучие леса продиралась,
О голые льды убивалась,
Голод и жажду терпела,
От великой нужды землю ела.
Я шла к тебе своей волей,
У меня к тебе обидное дело:
Приходил ты на Русь со смертями,
С пожарами, с грабежами,
Ты разинул пасть от земли до неба,
Ты Рязань обвёл мёртвую рукою,
Катил по Рязани головнёю,
Теперь ты на радости пируешь...

Ей на то царище рассмехнулся:
— Смело ты, жёнка, рассуждаешь,
Всего ты меня заругала!
Не слышал я такого сроду.
А не будем с тобою браниться,
Давай, Рязанка, мириться.
Какое тебе до меня дело?—
Говорит Авдотья Рязанка:
— Ты увёл в полон моего мужа и брата,
Унёс моего милого сына.
Я ночью и днём их жалею,
Покажи их живых или мёртвых.
Я одену их в чистые рубахи,
Поясами их опояшу,
Покричу над ними, поплачу,
Про запас на них нагляжуся.

И царь на Авдотью дивится:
— Орда молодцев видала,
Такого образца не бывало!
Не князь, не посол, не воин —
Жёночка с Рязани, сиротинка,

Перешла леса и пустыни,
Толкучие горы перелезла,
Бесстрашно в Орду явилась...
Гой вы, мурзы-татаре,
Приведите полоняников рязанских,
Пушай Авдотья посмотрит,
Жив ли муж её с братом,
Тут ли её милое чадо!

И полон рязанский приводят,
И Авдотья видит мужа и брата,
Живого видит милого сына.
И не стрела с тугого лука спрянула,
Не волна о берег раскатилась,
С семьёй-то Авдотьюшка свидалась.
Напали друг другу на шею,
Глядят, и смеются, и плачут.
Говорит царище татарский:
— Жалую тебя, жёнка Авдотья,
За твоё годичное хождение:
Из троих тебя жалую единым,
Одного с тобою на Русь отпускаю.
Хочешь, бери своего мужа,
Хочешь, бери себе сына,
А хочешь, отдам тебе брата.
Выбирай себе, Рязанка, любого.

И в ту пору и в то время
Бубны, набаты замолчали,
Роги и жалейки перестали.
А жёнка Авдотья Рязанка
Горше чайцы морской возопила:
— Тошно мне, мои светы!
Тесно мне отовсюду!
Как без камешка синее море,
Как без кустышка чистое поле!
Как я тут буду выбирать,

Кого на смерть оставляти?!
Мужа ли я покину?
Дитя ли своё позабуду?
Брата ли я отступлюся?..

.
Слушай моё рассуждение,
Не гляди на мои горькие слёзы:
Я в другой раз могу замуж выйти,
Значит, мужа другого добуду
Я в другой раз могу дитя родити,
Значит, сына другого добуду.
Только брата мне не добыти,
Брата человеку негде взять...
Челом бью тебе, царь татарский,
Отпусти на Русь со мною брата!

И в то время жёнка Рязанка
Умильно перед царищем стояла,
Рученьки к сердцу прижимала,
Не мигаючи царю в очи глядела,
Только слёзы до пят протекали.
Тут не на море волна прошумела,
Авдотью Орда пожалела,
Уму её подивилась.
И царище сидит тих и весел,
Ласково на Авдотью смотрит,
Говорит Авдотье умильно:
— Не плачь, Авдотья, не бойся,
Ладно ты сдумала думу,
Умела ты слово молвить.
Хвалю твоё рассуждение,
Славлю твоё умышление,
Бери себе и брата и мужа,
Бери с собой и милого сына.
Воротися на Русь да хвастай,
Что в Орду не напрасно сходила,
На веках про Авдотью песню сложат,

Сказку про Рязанку расскажут...
А и мне, царищу, охота,
Чтобы и меня с Рязанкой похвалили,
Орду добром помянули.
Гей, рязанские мужи и жёнки,
Что стоите, тоскою покрыты?
Что глядите на Авдотьину радость?
Я вас всех на Русь отпускаю.
Гей, жёнка Авдотья Рязанка!
Всю Рязань ве́ди из полону,
И будь ты походу воевода.

И в те поры мурзы-татаре
Своего царища похваляют,
Виньгают в трубы и в роги,
Гудят в набаты, в бубны.
И тут полоняники-рязанцы
Как от тяжкого сна разбудились,
В пояс Орде поклонились,
Молвили ровным гласом:
— Мир тебе, ордынское сердце,
Мир вашим детям и внукам!

И не вешняя вода побежала,
Пошла Рязань из полону.
Понесли с собой невод и карбас,
Да сетей поплавных — перемётов,
Чем, в дороге идучи, питаться.
Впереди, Авдотья Рязанка
С мужем, с братом и с сыном,
Наряжены в белые рубахи,
Опоясаны поясами.

После этого быванья
Воротилась Рязань из полону
На старое своё пепелище,
Житьё своё поправляют,
Улицы ново поставляют.

Были люди, миновались,
Званье, величанье, забывалось.
Про Авдотью память оставалась,
Что жёнка Авдотья Рязанка
Соколом в Орду налетала,
Под крылом Рязань уносила.

О СУХМАНЕ НЕПРОВИЧЕ



кануна¹ у праздника
Угощает князь Сеславьевич
Свою дружину хоробрую.
Ходит чаша рядовная,
Гости пьют, похваляются
Кто могутною силою,
Кто красой молодецкою.
А Сухман-то Непровьевич
Испивает по-малёхоньку,
Говорит по-редёхоньку.
Князь по гридне² похаживает,
У Сухмана выпрашивает:
— Что сидишь не улыбнешься?
Али чара шла не по ряду?
Али место не по отчине?³
Ответ держит молодой Сухман:
— Та и чаша чиновная,
Я котору ко устам несу.
То и место степенное,

¹ К а н у н — общинный праздник, братчина.

² Г р и д н я — помещение в княжеском доме для приёма гостей.

³ М е с т о не по отчине. — На пирах, на собраниях были места почтенные, средние и низкие, в зависимости от «отчины» — знатности рода.

На котором я сажу.—
Говорит князь Сеславьевич:
— Не спесиво ли высловил,
А не хвастливо ли вымолвил?
Ты о чём ладишь хвастати?
Богатырской ли силою
Али красой молодецкою?—
Ответ держит молодой Сухман:
— Моя сила не вам чета,
Моя красота не вам ровня.
А похвастаю силою:
Оснастишь ты, князь Сеславьевич,
Боевые лоды мерные,
Зайдёшь в лоды с дружиною,
Со конями, со сбруями,
Я лоды те повь́здыму¹,
Во синё море вынесу.
А в мою-то во красоту
Поглядит солнце красное,
Полюбуются звёзды частые.—
Говорит князь Сеславьевич:
— Нам догадку высказываешь.
Нам загадку загадываешь.
То ведь кúдесы² заветные,
То волшба хитромудрая,
Вещим бабам показана,
Старикам заповедана.
А твои возрасты ранние,
Твои степени молодшие.
Дам тебе службу свёрстную³.
Ты сгуляй ко Непре-реке,
Настреляй гусей-лебедей,
Серых малых утёнышей
Во дворы-ти во княжие,

¹ Повь́здыму — подниму.

² Кúдесы — волшебство, чародейство.

³ Свёрстная — подходящая по возрасту, по годам.

Нам в потребы домовные.—
А Сухман не ослышится.
Он и едет Непрой-рекой,
На реку-то дивуется,
У реки-то выспрашивает:
— Гой ты, мати Непра-река,
Что течёшь не по-старому?
Что волной разгулялася,
Во песках замутилася?—
Отвечает Непра-река:
— Мне ведь как не мутиться,
Во песках не мешаться?
К моему-то ко берегу,
С полудённую сторону,
Подошли злы татаровья,
Семь полков, орда Синяя.
Они мосты-то вымачивают,
Через меня-то, Непру-реку,
Переходы выкладывают.
Что они в день-то повымостят,
Что во дни-то повыстроят,
То я ночью повырою,
То я ночью повымою.
Я из сил-то повыбилась...
А идут-то татаровья
Ко княжому ко городу,
Ладят город на дым пустить,
Старых-малых повыгубить.—
А и тут молодой Сухман
Он и гонит добра коня
В полудённую сторону.
Красно солнце на закате,
Красна солнца не видети,
Что от духу татарского,
Что от поту ордынского.
А и тут молодой Сухман
Он хватал сыр матёрый дуб

Со корнями из берегу.
А не гроза-то накатится
И не туча навалится,
А ударил молодой Сухман
На полки-то татарские.
Он здымал сыр матёрый дуб
Выше плечи могучие,
Он и жа́хнул¹ ко западу,
Отмахнул на восточную.
То-то писку татарского,
То-то визгу ордынского!
А и бил молодой Сухман,
Как косец-то траву косил.
А и ложатся татаровья,
Ложатся увалами,
Лежат перевалами.
А и мати Непра-река
Со постели повыстала²,
На Орду-то опружилась.
Она мыла татаровей,
Уносила поганных
Во поддоны³ — желты пески.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Заря-то вечерняя
С зарёй со утренней
Как сестра с сестрою сойдутся.
На заре той, на утренней,
Заходил молодой Сухман
На гору на Окатову.
Он оглядывал к северу,
Отслушивал к западу,
А ни писку, ни голосу,
А ни визгу, ни шороху.

¹ Жа́хнул — ударил с размаху.

² Со постели повыстала — вышла из берегов. По-
стель реки — русло реки.

³ Поддоны — ямы на дне реки.

Лежит орда Синняя,
Как трава-то покошена,
А в живых-то остались,
Остались три татарина.
Они под гору укрылися,
В кусты схоронилися.
А Сухман-то Непровьевич
На горе постаивает,
Сымает золотой шелом,
Расстегнул латы булатные,
Оттирает кровавый пот
По трудех-то великих.
А и три-то татарина
Тянут тугі луки,
Пустили три стрелы.
Ударили три стрелы
Во крепку грудь Сухманову,
Во сердце ретивое.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Говорит Непра-река:
— Родимое моё дитятко,
Не вынимай калёной стрелы
Из сердца ретивого!
Дождись зари утренней,
Простись со дружиною.—
А во ту пору-времени
Во своём-то во городе
Не спит князь Сеславьевич,
С дружиною советует:
— Что без ветру река шумит?
За рекой будто гром гремит?
То не туча грозовая,
Не гроза разгулялася,
Тамо сеча кровавая,
Тамо бой-драка великая!
А и нет ли невзгодушки

Над молодым-то Непровичем? —
А и князь со дружиною
На добрых коней падают,
А и гонят Непрой-рекой
В полудённую сторону.
А и тут становилися,
А и тут острашилися:
Круг горы-то Окатовы
Лежит орда Синяя,
Лежат злы татаровья,
Как трава-то покошена.
А и скачет князь с дружиною
На гору Окатову.
Стоит молодой Сухман,
О коня ослоняется,
Говорит таковы слова:
— Здравствуй, князь со дружиною!
Я служил службу ранюю
По моим малым возрастам,
По молодым по степеням.
Набил гусей-лебедей,
Серых-малых утёнышей.—
Говорит князь Сеславьевич:
— Уж ты гой еси, Непровьевич,
Богатырь святорусский!
Мне-ка чем тебя жаловать?
В города ли воеводою
Аль несчётной золотой казной? —
Ответ держит молодой Сухман:
— Уж воеводить мне некогда
И казна стала ненадобна.—
А и тут молодой Сухман
Он правой-то рученькой
Выхватывал калену стрелу
Из своего-то сердечушка...
И не белой снежочек пал —
Непрович с ног упал.

Он упал, упал; лежит.
Белый снег на лицо бежит.
Из груди-то Сухмановой
Ударили три ключа.
Три ключа, воды светлые
Во потоки свивались,
Большой рекой разбежались.
Объявилась Сухман-река.
От очей-то Сухмановых
По той же Сухман-реке
Объявились два озера,
Воды синие, светлые.
Налетели тут гуси-лебеди,
Серы малы утёныши.
От костей-то Сухмановых
Поднялись круты береги.
От кудрей-то Сухмановых
По той ли Сухман-реке
Верба раскудрявилась.
А от уст-то румяных
Расцвели цветы алые.
А в красу-то Сухманову,
В воды чистые, светлые
Днём глядит солнце красное,
А в ночь — звёзды частые.
А дошла пора времени,
Оснастил князь Сеславьевич
Боевые лоды мерные;
На лоды зашёл с дружинами,
Со конями, со сбруями.
Подымала их Сухман-река,
Понесла во синё море.

БРАТАННА



андвик¹ — Студёное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит,
Вечерняя заря догорает.
Маменька помирает,
Сына и дочь благословляет:
— Ухожу к заре подвосточной,
Ухожу к звезде полуночной.
Се тебе, милому сыну,
Промысел морской оставлю,
Отецкой лодьёй благословляю.
Где руки отцовы трудились,
Туда и тебе, сыну, ходити.
Сестра тебе в материно место,
Братанна в доме хозяйка...
Мир тебе, доченька родная,
Речь у тебя не людская,
Да велика кротость-терпенье,
Велико ко всему раденье.
Поживите, деточки, в совете.
А кто совет ваш нарушит,
Клянупу того морем и землёю!
Земля на того и море!
Услышь меня, синее море!
Поблюди моего милого сына,
Подроди² немую Братанну! —
И солнышко закатилось,
Вечерняя звезда восходила,

¹ Г а н д в и к — песенное название Белого моря.

² П о д р о д и — прибавь силы, здоровья.

Маткины очи затворила.
И днём ноют попы-дьяки,
Ночью брат с сестрой плачут.
После этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдёт — простится,
С промысла придёт — доложится,
И брата Братанна хвалит,
По головушке его гладит.
Только речь у ней не постатейна¹,
Говоря у Братанны непонятна.
А брата, как мать, жалеет,
День и ночь по дому радеет.

После этого быванья
Возрастные годы приходят.
Тут брат сестру не спросился,
Молодой женой оженился.
Глаза у ней с поволокой,
Роток у ней с позевотой.

Молодая жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Остуду в семье заводила.
Гарчит², что лихая собака:
— Ахти, безголосая рыба,
Ахти, камбала криворота,
Оборотень деревенский,
За что тебе ключи и пояс?
Я тебя, дуры, не меньше!
Тебе надо мною не смеяться!

В зимнюю безвременную пору
Грубость Горожанка согрубила:
Лодейные паруса сгноила,

¹ Не постатейна — не такая, какая должна быть; непонятная.

² Гарчит — хрипло лает (о собаке).

Амбарному гнусу стравила,—
Подвела на немую Братанну.

И брат на сестру в кручине,
А жену от брани унимает:
— Не твоё дело, жена Горожанка,
Паруса — материны статки¹,
Не твои, не мои нажитки!

Лютая зима окротеет,
Перед красным летечком смирится,
А людской-то злобе краю нету.
Злая жена Горожанка
В погодливо время, в распуту,
В глухую, безлюдную ночку
У Братанны ключи отвязала,
К лодейному прибегищу сходила,
Причальные цепи отомкнула.
Тут великая невзгода учинилась:
Лодью водой повернуло,
Заторными льдами зажало,
Якори рвало самосильно.
Беда на Братанну упала —
Подвела на неё Горожанка
Воровским своим поклёпом и подмётом.
И брат на сестру опалился,
Тяжко на Братанну оскорбился.
Перестал с сестрой говорить,
К столу сестры не стал звать,
Не так-то жили при матке,
За одним столом, в одном хлебе...

После этого быванья
Горожанка на Братанну, как пёс, гарчит,
А Братанна, как стена, молчит,
Знай, горькие слёзы проливает,

¹ Статки — остатки, наследство.

Их правой ногой заступает,
Чтобы не было брату укоризны.

И в ту пору, в то время
Горожанка младеня породила,
И злобы своей не отложила.
Коль матери любы дети!
Горожанка и о том не умилилась,
Пуще на злобу устремилась.

О празднике было о вешнем,
Недельный день осветился,
С промыслу хозяин воротился,
Дома у ворот поколотился.
Сестра брата услышала,
Поскорёшеньку отворяла,
На шею желанному напала,
Птичкой воронкой кричала,
Кукушицей куковала.
И брат на сестру умилился,
Что камень от сердца откатился.

Недолга немая беседа.
Горожанка в окно усмотрела,
Пуще лютой змеи освирепела,
Что ровня она бешеной собаке;
Душегубное дело учинила:
Младеня из зыбки схватила,
Золовкиным ножом заколола,
Шибла¹ золовке на постелю.
Выбежала к мужу космата,
В ногах закаталась безобразно:
— Увы тебе! Люто, люто!
Сестра твоя лиходейка
Убила нашего младеня!

¹ Ш и б л а — здесь: бросила.

И отец видит страшное дело.
Затрясся кабыть от морозу,
Пришла на него озноба люта:
Сгорстал сестру за руки,
Ей руки отсёк по запястья.
Повисли ручки, как рукавички.
Этого страху мало,
Этой беды не достало,—
Своего убитого младеня
Брат сестре навязал на локти,
Выгонил сестру за ворота.

И почто с кручины смерть не придёт,
С печали душу не вынет!
Боса, кровава, космата,
Без памяти Братанна ступает,
Светлого дёничка не видит,
Не путём бредёт, не дорогой —
Чёрным лесом дремучим,
Белым мохом зыбучим.
Уж некуда Братанне деваться,—
Ей бы заживо в землю закопаться!
Кабы мать-то земля расступилась,
Она живая бы в землю схоронилась.
И тут как свет осветило,
Как на волю двери отворило:
Развеличилось отеческое море
От запада до востока!
Тут волны, как белые кони,
Тут шум, как конское ржанье.
К камню Братанна припадает,
К морю кричит и рыдает:
— Батюшко море, кормилец,
Матка у нас помирала,
Морю нас поручала!
Батюшко синее море,
С тобою живу, помираю,

В лютый день припадаю!
Услышь меня, синее море:
Нет на земле упокоя,
Некуда деться от злобы! --
В камень немая припадает,
В море младеня простирает.

Море убогую слышит,
Море убогую видит.
Страшно стало у моря:
Гром, и облак, и сумрак,
Трубные звуки и буря!
В бурях гора затряслася,
В море Братанна урвалася.
И море Братанну подхватило,
В бездонных пучинах огрузило.
Ещё речью море говорило:
— Кто с морем в любви и совете,
Кому на земле управы нету,
Тому от моря управа.
Пригожается сердце морское
Ко всякой человеческой скорби!
И в ту пору, в то время
Диво славно и ужасно:
Пала Братанна в море,
Рученьки мёртвы висели,
Пала с мёртвым младенцем,
Пала нема, полумёртва,—
Встала цела и здрава.
Волнами её подхватило,
В сердце морском переновило:
С костью кость сошлася,
С жилой жила свилася.
Дивны у моря угоды!
Руки целы и здравы.

Живой воды немая поглотила,
Запела и заговорила.
Выговаривает светло и внятно,
Поёт постатейно и красно:
— Мир тебе, синее море!
Слава морю до веку! —
А море, как лев, рыкаёт,
С младенем, как мать, играет.
И ожил дитя, засмеялся,
По-ребячьи в волнах заплескался.
Вышла Братанна из моря,
Как ново на свет родилась.
Она славу морю припевает,
На руках-то младенец играет
Слава синему морю,
Мир тебе, сердце морское!

После этого быванья
Брата сестра вспомянула:
— Птичка бы я была, воронка,
Домой бы я полетела,
На окошечке бы посидела,
Брата бы я поглядела!
Дойду я до братнева дома,
Покажусь вдовой-побирухой,
По речам меня не признати,
По рукам на меня не подумать:
Я ушла безъязыка, безрука.
По-вдовьи Братанна повязалась,
Опоясалась по-старушьи,
Младенца в пазуху склала,
Сажей лицо замарала.
Солнце пришло на запад,
Белый день на закате.
К дому Братанна подходит.
В доме песня и плясня.

Говорит Братанна кухарке:
— Здравствуешь, тётянька-голубка!
Всё ли у вас по-здорову?
Что у вас за пир, за веселье? —
Статны и внятны вопросы,
Сладки и светлы разговоры,
И кухарка Братанну не узнала.
— Здравствуй и ты, сиротинка!
А пляшет и поёт Горожанка,
Этому дому лиходейка.
Брата с сестрой разлучила.
Нашу хозяйюшку сгубила.
Ишь, собака, скачет да смеётся,
А ей золовкина слеза отольётся!

Уж Братанна ей не внимает,
Она в горницу гостину доступает.
Гости сидят за столами,
За яствами, за питьями.
Горожанка перед ними дробно ходит,
Золотым перстнем прищёлкнет,
Серебряным каблуком притопнет.
А хозяин выше всех посажен,
Пуще всех хозяин печален:
Без сестры у него пиру нету.
А сестра стоит, поклоны правит:
— Здравствуйте, хозяин с хозяйкой! —
Горожанка Братанну не признала:
— Уваливай, нищая коробка!
Здесь не монастырь, не поминки:
Господские песни да пляски!

Отвечает странница хозяйке:
— Тут-то меня и надо!
Я песни петь разумею,
Былинами душу питаю.—
Не туча с дождём прошумела,

Хозяин в углу отозвался:
— Садись-ка, тётка, на лавку,
Сказывай старину-былину,
Разгони мою тоску-кручину! —
В горнице говоря замолчала,
Странница младеня закачала,
Запела сама, заговорила:

— Маменька помирала,
Сына да дочь благословляла:
«Живите, деточки, в совете,
Сестра, обихаживай брата,
Будь ему в материно место.
Брателко, не обидь сестрицы.
К морю пойдёшь — простися,
С моря придёшь — доложися.
Клятвою вас заклинаю,
Во свидетели море призываю».
Тут вечерня звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И брат с сестрой зажили советно,
Однодумно они, однолично.
А сестра говорить не умела,
А гораздо на всякое дело.

После этого быванья
Брат сестры не спросился,
Молодой женой оженился.
Молода жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Что дом приказан золовке,
А молодка у ней под началом.
Стало всё не в честь да не в радость,
Всё не в доброе слово.
Лихорадство Горожанка учинила:
Лодейные паруса сгноила,
Подвела под немую золовку...

Горожанка сделалась в лице переменна:

— Брака, брака, брака всё!

А брат слушает, дивится, а сам на сестру не подумал, что ушла нема и увечна; эта цела и здрава, в речах сладка и успешна.

А странница сидит, как свеча горит,

Слово говорит, что рублём дарит:

— Да... парусы в зиму сгноила.

И этой напасти мало.

Этой беды не достало.

Молодая жена Горожанка

Мужневых трудов не пощадила,

Промысловую лодью погубила,

Подвела на немую золовку

Ябедой, поклёпом и подмётом...

Горожанка опять зубы явила:

— Брака, брака, брака! Ябеду сказывает и врёт!

А муж говорит:

— Не сбивай, со врак пошлин не берут.

Странница эта опять поёт:

— Да... промысловую лодью погубила.

И этой кручины мало,

Этого горя не достало.

Коль матери любы дети!

Горожанка дитя не пожалела:

Дитя своё заколола,

Золовкино сголовье зарудила¹,

Душегубством золовку уличила.

И брат сестре казнь придумал:

Без суда, без сыску, без управы

Руки сестре изувечил,

Навязал на локти младеня

И выгонил сестру за ворота...

¹ З а р у д и л а — запачкала кровью.

Горожанка схватила со стены ловецкое копьё да
шибла в певицу. Муж копьё перехватил на лету, бросил
в угол, а сам заплакал:

— Правда, правда! И у нас то!

И опять стала тишина, только странница поёт:

— Да... выгонил сестру за ворота.

Побрела кровава, космата.

Шла, пришла на край моря

И к морю немая возопила,

Смерти себе запросила.

На море волны встали,

Как лист, земля затряслась...

В море немая урвалась.

Как сноп, её море носило

И в сердце морском переновило:

Была нема и увечна,

Стала цела и здрава.

Запели уста, заговорили,

Руки младеня подхватили.

В живой воде дитя заплывал,

По-ребячьи дитятко заплакал...

Дивны у моря угожья!..

Я бабой-старухой срядилась,

К брату на праздник явилась.

Братанна платок-то сдёрнула да сажу стёрла. Больше слов не надо.

Брат сестру узнал, тут радость неудержимая. Упал сестре в ноги, целует ей руки, уста и очи, к сердцу жмёт своё детище. А Горожанка заскакала собакой да прынула в окно, только пыль свилась в след. Больше Горожанку здесь никто не видел. Да и кто её рад видеть!

И после этого быванья

Брат с сестрой зажили в совете.

Он в море пойдёт — простится,

С моря придёт — доложится.
А Братанна племянника хвалит,
По головушке его гладит.
Дивны у моря угодыя!
Слава сердцу морскому!

ССОРА ИЛЬИ МУРОМЦА С КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ



И то во городе во Киеве,
У князя Володимира,
Заводился почестен пир.
Тут все-то созваны
Князья, и бояре,
И могучие богатыри:
Добрыня Никитич свет,
Алёша Попович млад,
И Дюк Степанович,
И Василий Буслаевич.
Только нету матёрого старика,
Только нету Ильи Муромца,
Не позвали Ивановича.
Илье то Муромцу
Обидно палосся.
Он с полатей спрядывает,
Шёлковы портки подтягивает,
На крылечко выхаживает.
Тугой лук натягивает,
Калёну стрелу накладывает...
Полетела калёна стрела,
Отшибала маковки
У хором-то боярских,

У домов-то купецких.
Илья-то Иванович
По улке похаживает,
Кричит во всю голову:
— Эй вы, голи кабацкие,
Доброхоты царские!
Собирайте золоты коньки,
Хрустальные маковки,
Волоките во царёвы кабаки,
Пропивайте на зелёном на вине,
Поминайте Илья Муромца
Обиду великую! —
Эти голи кабацкие,
Все горькие пьяницы,
Собирали золоты коньки,
Хрустальные маковки,
Потащили во царёвы кабаки,
Пропивали на царёвом на вине.
Эти голи кабацкие,
Они будут во полупьяне,
Илья-то Иванович
По кабакам-то похаживает,
Умильно выговаривает:
— Вы, други любезные,
Голи кабацкие,
Не оставьте старого
Старичонка убогого
Илейку-то Муромца
На обиде великия.
Пойдём на княжий двор,
Володимира повыгоним!
Со княжа стола повысадим! —
Говорят голи кабацкие:
— Илья Иванович,
Твоё пили-кушали,
Тебя и слушаем! —
Эти голи кабацкие,

Все горькие пьяницы,
Они валят по городу,
Иду по Киеву,
Бежат на княжий двор.
Володимир стольно-киевский
Увидал, закручинился:
— Охти, тошнёхонько!
Илья-то Муромец
Сосбирал голей кабацких.
Идут меня выгонити,
Со стола-то повесадити!
Ты, Добрыня Никитич свет,
С Ильёй-то Муромцем
Вы братья крестовые.
Ты Илью поугovarивай,
Не ходил бы на мой-то двор
С голями кабацкими.—
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапоньку,
Умильно выговаривал:
— Илья Иванович,
Крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися,
У нас клятва положена
Друг друга слушати.
Не ходи ты на княжий двор
Со голями кабацкими.—
Говорит Илья Муромец:
— Я князя ничем зову,
Я Владимира не слушаю,
Но я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Нейду на княжий двор,
Не велю голям кабацким.—
Что с этой-то радости

Володимир стольно-киевский
Принадвинул белодубовых столов,
Принабавил питей-кушаний.
Говорит Добрынюшке:
— Ступай, Никитич млад,
Зови-тко Муромца
Ко мне на княжий пир,
Ко мне во княжий стол.—
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапочку,
Умильно выговаривал:
Илья Иванович,
Крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися.
У нас клятва положена
Друг друга слушати:
Пожалуй на княжий пир,
Пожалуй во княжий стол.—
Говорит Илья Муромец:
— А я князя ни во что кладу,
Но я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Приду во княжий стол,
Приду во княжий пир.
Будет пир во полупире,
Княжий стол во полустоле.—
А и тут песни поют,
А и тут гудки гуднут,
Тогда Илья пожаловал.
И Владимир стольно-киевский,
Он прядал со лавицы,
Илье в пояс кланялся,
Умильно выговаривал:
— Что уж гость-то идёт не по нам,
Не по нашим достаточкам.

Илью-то Ивановича,
Гостенька самолучшего,
Я чем буду потчевати,
Я как буду чествовати? —
Говорит Илья Муромец:
— Ты хитёр, Володимир-князь,
Догадался, кого послать
По Илейку-то Муромца.
Кабы не Добрынюшка,
Не его речи умильные,
Тебе не быть бы во городе,
Не сидеть на княжом столе.—
Старина стародавняя,
Былина, быль досельная
Морю на утишенье,
Добрым людям на услышанье.

ОБ ИВАНЕ ГРОЗНОМ И ЕГО СЫНЕ ФЁДОРЕ



Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота — конца им нет
От нашей Двины, от Архангельской.
Заволакивает небо в тёмны тучи,
Остеклело широко океан-море,
Надо мхами-болотами метель метёт,
Та ли осенняя непогодушка.

Заводилась непогода у синя моря,
Доносило непогоду до Святой Руси.

На Святой Руси, в каменной Москве,
В каменной Москве, в Кремле-городе,
У царя у Ивана у Васильевича
Было пированье, почестен стол.
Все на пиру пьяны-веселы,
Все на пиру стали хвастати.
Прирасхвастался Иван Грозный царь:
— Я взял Казань, взял и Астрахань.
Я повывел измену из Пскова.
Я повывел измену из Новагорода,
Я повыведу измену из каменной Москвы!

Говорит же тут его младший сын,
Младший сын Фёдор Иванович:
— Вы слышали ли, бояре, такую беду,
Что сей ночи, со полуночи,
Москва-река течёт кровию,
Той ли кровью княженицкою?
А на крутых бережочках не камешки,
А валяются головушки боярские...

А и гости-то царевичу перстом грозят,
Поют-ревут, его унять хотят.
А расслушал же Малюта Скуратов сын,
Говорит Малюта царю Грозному:
— Хоть ты взял Казань, взял и Астрахань,
Хоть повывел измену из Пскова,
Хоть повывел измену из Новагорода,
Тебе не вывести измену из каменной Москвы:
С тобой измена за столом сидит,
С одного с тобой блюда хлеба кушает,
Из одной енды пива-мёду пьёт.
Твой-то сын Фёдор Иванович
Сказывает боярам такие слова:
«Москва-де река течёт кровию,
Той ли кровью неповинною.

А на крутых берегах лежат не камешки —
Валяются головушки христианские».

И Грозный царь распрогневался,
Скачет царь на резвы ноги.
От того поскоку ретивого
Белодубовы столы пошатались,
В ентовых питья расплескались,
Хлебы ситны колесом покатились,
Браны скатерти в трубу завивались.
Кричит же царь зычным голосом:
— Вы гой, палачи немилостивы,
Имайте царевича за белы руки,
Ташите его за Москва-реку,
На то на Болото на Торговое,
Кладите на плаху на липову,
Секите ему буйну голову!

И все палачи приустрашились,
И все палачи приужаснулись...
Один Малюта не ужаснулся,
Один Скуратов не уstraшился.
Хватал царевича за белы руки,
Поволок его за Москва-реку,
На то на Болото на Торговое.
Кладёт его на плаху на дубовую,
Ладит сечь буйну голову.

А и эта весточка престрашная,
Что царь казнит своего сына,—
Летит эта вестка по всей Москве,
По той по улице Никитския.
Тут стоят хоромы высокие,
Живёт царевичев дядюшка,
Боярин Никита Романович.

И дядюшка приужаснулся.
Прядал с постели со мягкия,

Сапожки насунул на босу ногу,
Шубоньку на одно плечо,
Шапоньку на одно ушко.
Ему некогда седлать добра коня,
Он падал на клячу водовозную.
Он гонит клячу через всю Москву;
Он застал Малюту на замахе.
Схватил любезного племянника,
Спрятал племянника за пазуху,
Застегнул на пуговики серебряны,
Кричит, зычит таковы слова:
— Собака, вор ты, Скуратов сын,
Мироед ты, съедник, переел весь мир!..
Сплыви, собака, за Москву-реку,
Поймай в чистом поле татарина,
Ссеки ему буйну голову,
Снеси царю саблю кровавую,
И царь тому делу поверует.—
И дядюшка Никита Романович
Увёз племянника во свой во двор,
Спрятал во покои во особые,
Созвал скоморохов весёлых
Утешати опального царевича,
Поколь утолится отецкий гнев.

А Малюта сплыл за Москву-реку,
Поймал в чистом поле татарина,
Срубил ему буйну голову,
Принёс к царю саблю кровавую.
И Грозный царь зажалел сына.
Снимал с головы золотой венец,
Закутал лицо во черной клобук;
Свои же он ризы царские
Закутал манатьёй чернеческой¹.
Засветил лампаду негасимую,

¹ Манатья чернеческая — мантия монаха.

Отворил книгу Псалтырь великую
И заплакал по сыне по Фёodore:

— Белопарусный кораблик ушёл за море,
Улетела чайца за синее.

Кудрявая елиночка посечена,
Золота верба весенняя порублена.
Нет у меня сына милого,
Я казнил своё детище любимое...
И плачет царь ровно шесть недель.
Шестинедельная панихида миновалася,
Незатворна Псалтырь затворялася,
Негасима лампада погашалася.
Поехал царь за потехами,
За утками поехал, за лебедями.
А и надо ехать через всю Москву,
По той по улице Никитския.
А у дядюшки Никиты Романовича
Песни поют и гудки гудут,
Играют скоморохи удалые,
Веселят опального царевича.

И Грозный царь распрогневался,
Позвал дядю на красно крыльцо,
Ему ткнул копьё во праву ногу,
А сам говорит таковы слова:
— Что у тебя за пир такой?
Что у тебя за весельице?
Не знаешь ли ты, не ведаешь,
Что померкло у нас солнце красное,
Погасла звезда ранопутренняя?
Ведь казнил я своего сына милого,
Ведь нет в живых твоего племянника!
Так всегда в каменной Москве:
По всяком по воре по боярине,
По всяком князе-изменнике
Много на Москве плачу-жалобы,

По моём только по милом по детище
Никого в Москве нету жалобного.

В те поры Никита Романович
Бежит во покои во особе.
Он выводит к царю сына Фёдора,
Жива, здрава, невредимого.

И Грозный царь Иван Васильевич
Падал дяде в праву ножечку:
— Ты от смерти спас моё детище,
Ты от муки спас мою душу грешную!
Я как тебя, дядя, буду чествовать?
Я чем тебе буду благодарствовать? —
Говорит Никита Романович:
— Садись-ко, царь, на ременчат стул,
Пиши-ка ярлык скорописчатый,
Даруй льготу нерушимую
Для нашей улицы Никитския:
«Кто-де на улицу Никитскую
От царского гнева укроется,
Не тронуть того царским приставам,
Не задеть того лютым опричникам».

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Детство в Архангельске	7
Миша Ласкин	15
Ваня Датский	21
Мурманские зуйки	28
Старые старухи	39
Щедрая вдова	46
Для увеселенья	48
Поклон сына отцу	53
Новоземельское знание	55
Корабельные вожи	58
В относе морском	61
Круговая помощь	68
Грумант-медведь	70
Грумаланский песенник	71
Марья Дмитриевна Кривополенова	72
Гнев	77
Матвеева радость	81
Соломонида золотоволосая	96
Дождь	101
Лебяжья река	116
Володька Добрынин	133

Сказки

Дивный гудочек	145
Пойга и лиса	148
Умная Дуня	153
Судное дело Ерша с Лещом	155
Глупые люди	160
Золочёные лбы	162
Волшебное кольцо	173
Пронька Грезной	182
Сказки о Шише	
Наш пострел везде поспел	189
Доход не живёт без хлопот	191
Шиш и трактирщица	196
Шиш показывает барину нужду	198
Рифмы	199
Шиш-сказочник	201
Тили-тили	203
И поят, и кормят, и спину порют	205
Куричья слепота	207
Шиш пошучивает у царя	208
Шти	211

Былины

Об Авдотье Рязаночке	215
О Сухмане Непровиче	226
Братанна	233
Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром	244
Об Иване Грозном и его сыне Фёдоре	248

Для младшего школьного возраста

Редактор-составитель *Е. Ш. Галимова*
Художественный редактор *А. С. Мазурин*
Технический редактор *Н. Б. Буйновская*
Корректоры *Г. В. Смагина, В. А. Фокина*

ИБ № 506

Сдано в набор 18.02.85 г. Подписано в печать 8.04.85 г.
Форм. бум. 84×108/₃₂ (бум. тип. № 1). Гарнитура «Литературная».
Высокая печать. Усл. печ. л. 14,07. Усл. кр.-отт. 17,43. Уч.- изд. л.
12,324. Тираж 100 000. Заказ № 3128. Цена 95 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
163061, Архангельск, пр. П. Виноградова, 61.
Типография издательства «Правда Севера»
Архангельского обкома КПСС, 163002, Архангельск,
пр. Новгородский, 32.

gm 12.15 - first CP/2